



Владимир Войнович

Персональное дело

ФТМ



Владимир Николаевич Войнович

Персональное дело

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163892
Персональное дело: Эксмо; Москва; 2006
ISBN 5-699-14571-0*

Аннотация

[i]«Как только... народ изберет меня своим лидером, я прежде всего постараюсь встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки. В любом подходящем или неподходящем месте. – Рони, – скажу я ему (или, допустим, Джон), – давайте наконец поговорим о разоружении не для пропаганды, а по существу и откровенно, без недомолвок. Вы за нулевое решение, я тоже. Давайте вынем все взрыватели из ядерных боеголовок, а все до единой ракеты перекуем на орала. С вашей стороны круглый ноль, и с нашей такой же круглый. Как в туалете. Я даже согласен, пусть англичане и французы свои ракеты оставят себе (правда, при этом, если они хотят считаться порядочными людьми, они должны взять на себя обязательство в случае мирового конфликта обрушить свои ядерные заряды друг на друга)». [b]Владимир Войнович[/b][/i]

Содержание

Часть первая	4
Самому не верится, что это так было	4
На пыльных тропинках, или За пятнадцать лет до того	9
Советский антисоветский человек	34
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Владимир Войнович

Персональное дело

Часть первая

Самому не верится, что это так было

Копия

Секретно

экз. 2

5 апреля 1975 г.

784-А

ЦК КПСС

О НАМЕРЕНИИ ПИСАТЕЛЯ В. ВОЙНОВИЧА

СОЗДАТЬ В МОСКВЕ ОТДЕЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБА

В результате проведенных Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР специальных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о том, что в последние годы международная писательская организация Пен-клуб систематически осуществляет тактику поддержки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литераторов, проживающих в СССР. В частности, французским национальным Пен-центром были приняты в число членов ГАЛИЧ, МАКСИМОВ (до их выезда из СССР), КОПЕЛЕВ, КОРНИЛОВ, ВОЙНОВИЧ (исключен из Союза писателей СССР), литературный переводчик КОЗОВОЙ.

Как свидетельствуют оперативные материалы, писатель ВОЙНОВИЧ, автор опубликованных на Западе идейно ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных «обращений», в начале октября 1974 года обсуждал с САХАРОВЫМ

идею создания в СССР «отделения Пен-клуба». Он намерен обратиться в Международный Пен-клуб с запросом, как и на каких условиях можно организовать «отделение» Пен-клуба в СССР с правом приема в него новых членов на месте. В качестве возможных участников «отделения» обсуждались кандидатуры литераторов ЧУКОВСКОЙ, КОПЕЛЕВА, КОРНИЛОВА, а также лиц, осужденных в разное время за антисоветскую деятельность, – ДАНИЭЛЯ, МАРЧЕНКО, КУЗНЕЦОВА, МОРОЗА. ВОЙНОВИЧ считает также, что принимать можно будет «необязательно диссидентов», но и «молодых писателей, которые заслуживают этого».

Таким образом, ВОЙНОВИЧ намерен противопоставить «отделение Пен-клуба» Союзу писателей СССР.

Характерно, что в плакате под названием «Писатели в тюрьме», рассылаемом американским Пен-центром, значится в числе прочих и фамилия ВОЙНОВИЧА, о котором в провокационных целях сообщается, что он «заключен в психиатрическую лечебницу», что не соответствует действительности.

В настоящее время ВОЙНОВИЧ встал на путь активной связи с Западом, имеет своего адвоката, гражданина США Л. ШРОТЕРА, ранее выдворившегося из СССР за сионистскую деятельность. ВОЙНОВИЧ поддерживает контакт с неким И. ШЕНФЕЛЬДОМ, одним из функционеров польского эмигрантского центра «Культура», и с

другими антисоветски настроенными представителями эмиграции (СТРУВЕ, МАКСИМОВ, НЕКРАСОВ, КОРЖАВИН-МАНДЕЛЬ), через которых стремится публиковать свои произведения на Западе, а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в нашу страну иностранцами.

Парижское издательство «ИМКА-пресс» в феврале 1975 года выпустило в свет на русском языке «роман-анекдот» ВОЙНОВИЧА «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», в аннотации к которому сообщается, что это «роман о простых русских людях накануне и в первые дни Второй мировой войны», что автор передает «трагедию русского народа, обездоленного и обманутого своим «великим отцом». Роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться в ФРГ.

Кроме того, ВОЙНОВИЧ вступил в члены так называемой «русской секции» Международной амнистии, организованной в Москве ТУРЧИНЫМ и ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ, являющимися активными участниками антиобщественных акций.

В конце января 1975 года ВОЙНОВИЧ заявил ряду западных корреспондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР, в связи с чем не может обеспечить свою семью с помощью литературного труда, допустил ряд грубых выпадов против Союза писателей, сказал, что события, происшедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его «коллизии с официальной советской доктриной социалистического

реализма». ВОЙНОВИЧ подчеркнул, что он не признает полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на Западе.

С учетом того, что ВОЙНОВИЧ скатился, по существу, на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать ВОЙНОВИЧА в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно ВОЙНОВИЧА будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ.

Председатель Комитета госбезопасности
Ю. АНДРОПОВ

На пыльных тропинках, или За пятнадцать лет до того

Не знаю, как насчет других искусств, а в литературе молодому дарованию очень важно, делая первые шаги, встретить поклонников, поощрителей, которым можно читать написанное днем и ночью, при встрече и по телефону и рассчитывать на их искреннее и щедрое восхищение. У меня в начале моего писательства таких поклонников было два. Один – Камил Икрамов, о нем разговор когда-нибудь отдельно, и второй, о ком расскажу сейчас.

В литературном объединении «Магистраль» я читал что-то из своих первых стихов, а когда обсуждение кончилось, ко мне подошел человек в красном пальто с желтым шарфом и протянул руку:

– Меня зовут Владимир Лейбсон.

– Вы тоже член «Магистралаи»?

– Нет, просто любитель. Давай перейдем на «ты». Возьми мой телефон, звони, заходи.

У меня когда-то была исключительная память на телефоны. Я их никогда не записывал. Просто совсем никогда. Но всегда запоминал. Впрочем, не все надолго. Некоторые телефоны как входили в голову, так и выходили. А телефон Лейбсона застрял в памяти навсегда, и сейчас я его помню: К-9-44-11. Кстати, он практически никогда не менялся. Про-

сто буква «К» была заменена на соответствующую цифру, а потом ко всему номеру спереди приставили двойку. Получилось 299-44-11.

Так и оставалось до самой смерти Владимира Ильича. Соотнесение его имени и отчества было причиной многих нехитрых шуток и розыгрышей. Я ему, бывало, звонил и говорил с грузинским акцентом что-нибудь вроде: «Владимир Ильич, с вами говорит начинающий поэт Сосо Джугашвили, хотелось бы посоветоваться по поводу...»

Повод был обычно один: написав очередной опус, я хотел его немедленно прочесть и услышать, что это здорово, потрясающе или даже гениально. Просто гениально, и все. И получал предвкушаемое.

Лейбсон жил с родителями в старом доме на Патриарших прудах, как раз почти на том самом углу, где трамвай отрезал голову булгаковскому Берлиозу. Отец Володи был старый большевик, с какими-то заслугами перед советской властью, за что сын его не уважал, а власть поощрила разнообразно, в том числе и отдельной трехкомнатной квартирой, что тогда было крайней редкостью. Подавляющее большинство моих тогдашних московских знакомых жили в коммуналках, одна комната на семью любого размера. Сейчас это трудно бывает представить, а тогда казалось нормальным, что в комнате человек, скажем, на шесть каким-то волшебным способом размещались диваны, кровати (часто кресла-кровати), раскладушки, огромная библиотека, концертный рояль посередине

да еще кадушка с каким-нибудь кактусом или фикусом. А тут три комнаты на троих. Причем средняя – самая большая гостиная – всегда пуста. Родители, которых я редко видел, сидели в своей комнате, а Володя – в своей со стенами ярко-красного цвета.

– Как ты думаешь, по какому принципу подобрана моя библиотека? – спросил он меня при первом моем посещении.

Я стал рассматривать книги, пытаюсь по авторам понять принцип. Русская классика? Советская? Западная?

– По цвету, – сказал Лейбсон. – Я покупаю книги только трех цветов: красного, желтого и зеленого. Остальные цвета не признаю.

– А если какая-то очень нужная книга будет синяя?

– Значит, для меня она будет ненужной.

И в подтверждение своих слов подарил мне полное собрание сочинений Пушкина старинного издания только потому, что переплет был серого цвета. Только тогда я сообразил, что и одежду он себе не покупает готовую, а шьет, и задорого, именно ввиду цветовых пристрастий. Костюм у него был зеленый, пальто красное с оранжевой подкладкой, ботинки желтые.

Его цветовая прихотливость и видимое безразличие к противоположному полу были причиной всяческих предположений относительно его сексуальной ориентации, но интереса такого рода к мужчинам он тоже не проявлял. Впро-

чем, выпивши, он мне однажды признался, что постельные отношения с одной женщиной у него когда-то были, но они его травмировали и шокировали своей очевидной бессмысленностью (если не для производства детей).

– Очень глупое занятие, – сказал он и этим исповедь свою завершил.

Высоко ценя мои тогдашние (надо признаться, скромные) достижения в поэзии, он все-таки в некоторых моих способностях сомневался. Я, как большинство начинающих стихотворцев, относился с некоторым презрением и даже высокомерием к поэтам-песенникам, считая, что их работа к настоящей поэзии отношения не имеет.

– Ты так говоришь, – сказал Лейбсон, – потому что так принято говорить. А на самом деле написать песню, такую, чтобы ее вообще пели люди, не так-то просто. Любой поэт, который ругает песенников, был бы счастлив написать хотя бы одну песню, чтобы ее запели. Но не каждый это умеет. И ты вряд ли сможешь.

– Смогу, – сказал я.

Но доказать, что смогу, никакой возможности не было. Для доказательства надо было не только написать текст, но найти еще подходящего композитора. Композиторов знакомых у меня не было, и наш спор несколько лет оставался нерешенным.

1960 год я встретил в своей новой комнате в большой коммунальной квартире так называемой коридорной системы.

То есть главной ее особенностью был именно коридор, по обеим сторонам которого располагались 25 комнат с проживавшими в них двадцатью пятью семьями.

На всех жильцов – одна кухня (четыре плиты) и одна уборная (три «толчка»). Ванной, конечно, не было, был умывальник на кухне, с несколькими кранами и длинным цинковым корытом под ними. На стене у входа на кухню висел телефон, из-за которого между соседями велись бесконечные споры по поводу платы за него, кстати сказать, не очень большой. Поскольку никакого закона по этому поводу не было, жильцы пытались установить собственные правила. Одни предлагали платить посемейно. Но семьи были побольше и поменьше, и возникал спор, как же так, вас четверо, а я одна, почему же я должна платить столько, сколько вы? Хорошо, говорили другие, тогда будем брать плату по количеству членов семьи. Ну уж нет, возражали третьи, у нас грудной ребенок, он по телефону не говорит. Тогда будем брать плату, начиная с детей школьного возраста. Однако в процессе спора выяснилось, что возраст у детей бывает один, а рост разный и не все дети школьного возраста могут дотянуться до телефона. Было внесено предложение ввести плату за каждый звонок, после каждого звонка честно расписываться на стенке, когда кто звонил. Этот вариант тоже не прошел, потому что встал вопрос, как считать звонки, они бывают короткие и длинные. Споры эти велись бесконечно, иногда вяло, а иногда страстно, но до драк все же не доходило.

В те годы я писал очень много, упорно и фанатически. Писал, когда работал на стройке и когда ушел с нее, писал, когда поступил учиться в институт, в общем, писал все время, когда оно у меня было. Но часто писал лежа. Наша соседка пенсионерка Полина Степановна всегда все подмечала, а потом сообщала на кухне:

– Этот-то все лежит. Больной, что ли?

И она же иронизировала по поводу жалоб моей тогдашней жены:

– Клопы, говорит, замучили. И откуда у их клопы? Это у мене клопы, у мене ж мебель.

Лежал я все-таки не всегда. Иногда вставал и перепечатывал написанное на дряхлой машинке, у которой не было вопросительного и восклицательного знака, что, как считал Лейбсон, влияло на мой стиль, делало его спокойным и уравновешенным, без лишних вопросов и неуместных восклицаний. Перепечатав написанное, я разносил свои сочинения по редакциям, из которых потом на красивых бланках приходили вежливые ответы, что тему я затронул интересную и значительную, но исполнение, к сожалению, не достигло уровня замысла. И в конце следовали советы трудиться, учиться у мастеров, читать статью Маяковского «Как делать стихи» и книгу Исаковского «О поэтическом мастерстве». (Я впоследствии советовал самодеятельным стихотворцам то же самое.)

Однажды я шел в очередную редакцию со своим тогдаш-

ним приятелем Костей Семеновым, и в каком-то из переходов метро встретился нам приятель Семенова Ян Полищук, известный в те годы писатель-юморист. Он работал заместителем главного редактора редакции сатиры и юмора Всесоюзного радио. (Не представляю, как сказать это короче.) Редакция выпускала в эфир юмористические программы «Веселый спутник» и «С добрым утром».

– Слушайте, ребята, – сказал Полищук, – мне нужен срочно младший редактор. Нет ли у вас хорошего молодого талантливого человека без больших претензий?

– А вот, – отреагировал Костя, показывая на меня, – вот хороший, молодой, талантливый без претензий.

– Ты бы пошел младшим редактором? – Полищук смотрел на меня с недоверием.

Боясь упустить возможность, но в то же время надеясь не уронить себя, я сказал лениво, что, в общем, мог бы поработать.

– Да, – сказал он, – но зарплата, к сожалению, только тысяча рублей. Потом, может быть, прибавим. А пока только тысяча.

Тысяча рублей! Каждый месяц тысяча рублей! Этот человек даже не представлял, какой баснословной казалась мне тогда эта сумма. (Это было накануне денежной реформы, после которой тысяча превратилась в сто.)

На следующий день, чуть в начале одиннадцатого утра, я вошел в новое, только что построенное здание радиокомите-

та у метро «Новокузнецкая». У входа милиционер проверял пропуска.

– Ты что опаздываешь, – накинулся на меня Полищук, нетерпеливо вышагивавший по коридору этажа, на котором мы условились встретиться. – Я тебе сказал в десять, значит, в десять. Ладно, пошли.

Я не успел пробормотать что-то в свое оправдание, как он распахнул обитую черной кожей дверь, на которой было написано: «Н.Т. Сизов».

Мы оказались сначала в большой приемной, а потом еще через две черные двери попали в кабинет, в каких я до того никогда в жизни не бывал.

Самый большой кабинет, в котором мне приходилось бывать, был кабинет председателя Приморского райисполкома в Крыму, но разве можно сравнить то помещение с тем, которое я увидел сейчас?

Паркет, старинная мебель, хрустальная люстра, за широким столом сидит какой-то, видимо, очень важный начальник и пишет что-то, наверное, тоже безумно важное.

– Здравствуйте, Николай Трофимович! – радостно приветствовал начальника Полищук. – Вот, пришли.

Я оробел и невольно скосил глаза на свою одежду. Пиджак у меня был, в общем, более или менее еще ничего, но брюки, брюки... Даже сейчас страшно вспомнить. Внизу бахрама, колени пузырятся. Ботинки стоптаны. Подобно герою одного из рассказов О'Генри, я быстро пересек ши-

роченное пространство кабинета и стал перед начальником, загородив свою нижнюю часть столом, готовый перегнуться через крышку и пожать руку, если она мне будет протянута. Впрочем, я бы не удивился, если бы сидящий за столом просто кивнул мне головой, как это делали другие начальники, например, тот же председатель райисполкома.

Но этот повел себя совсем неожиданно. Что-то там дописав, он отложил ручку и, цвета дружелюбнейшей улыбкой, поднялся и стал медленно огибать стол, чтобы приблизиться ко мне. Демонстрируя свою демократичность, он при этом выглядел очень внушительно и даже показался мне немного похожим на Сталина, хотя был без усов и без трубки.

– Ну здравствуйте, – сказал он, сердечно пожимая мне руку. – Мне о вас уже говорили. Значит, вы согласны у нас работать?

– Ну да, – сказал я, – мне это было бы интересно.

– Но вы знаете, что зарплата у нас небольшая?

– Да, я слышал, но меня зарплата не интересует, – сказал я, давая понять, что явился сюда исключительно ради высших идейных соображений.

Кажется, я попал немного впросак. Услышав мои слова, он слегка нахмурился и посмотрел на меня внимательно.

– Ну почему же не интересует? – сказал он. – Мы материалисты, и нам незачем лицемерить.

Я смутился. Мы, конечно, материалисты, но когда я, работая на стройке, выражал (очень редко) недовольство опла-

той труда, меня попрекали отсутствием коммунистической сознательности и говорили, что мы, советские люди, Родине служим не за деньги.

Я попытался переориентироваться и сказал, что зарплата меня, конечно, интересует, но и творческая сторона дела мне тоже не безразлична, тем более что я сам склонен к сатире и юмору, и тут я выложил на стол два своих весьма убогих стишка, у которых были, однако, те достоинства, что один из них был опубликован в «Юности», а другой – в «самой» «Правде».

Тот факт, что я печатался в главной партийной газете (это было один раз в подборке «Стихи рабочих поэтов»), убедил Сизова в том, что он имеет дело с «нашим» человеком, он опять заулыбался и вопросов анкетного характера почти не задавал. Только спросил, кто мои родители. Я сказал: мать – учительница, отец – журналист, работает в городской газете в Керчи.

– Коммунист? – спросил Сизов.

Я замялся.

Мой отец когда-то был коммунистом, но только до тридцать шестого года, когда его перед арестом и посадкой в тюрьму исключили из партии за преступление, заключавшееся в том, что он не верил в построение полного коммунизма в одной отдельно взятой стране, считая, что это может случиться только во всех странах одновременно после мировой революции.

– Ну это вовсе не обязательно – вашему отцу быть членом партии, – заметив мои колебания, опять демократично улыбнулся Сизов.

– Владимир Николаевич имеет в виду, – пришел мне на помощь мой Полищук, – что если его отец работает в газете, то, конечно же, он коммунист.

– Да, да, да, – торопливо подтвердил я, хотя, конечно, это была неправда.

На этом прием был окончен.

Мое дальнейшее оформление на работу прошло почти гладко, если не считать, что начальник отдела кадров пытался выяснить у моих будущих сослуживцев происхождение моей фамилии, которая имела подозрительное окончание на «ич». Ему объяснили, что на «ич» оканчиваются не только еврейские фамилии, но и нееврейские, например Пуришкевич. «А кто этот Пуришкевич?» – заинтересовался кадровик. «Известный дореволюционный антисемит», – объяснили ему. Кадровик успокоился, и на следующий день я приступил к своей новой работе.

Хотя евреев принимали на радио неохотно, тем не менее (правильно замечали бдительные товарищи) они там были. В нашей редакции сатиры и юмора из десяти примерно человек не меньше чем половину составляли евреи и, как принято было тогда выражаться, полукровки вроде меня.

Один из полукровок, сейчас известный писатель и режиссер Марк Розовский, при поступлении на работу тоже при-

нимался высоким начальством. На вопрос о национальности родителей Розовский ответил, что его мама – гречанка.

– А папа? – спросило начальство.

– А папа инженер.

Так что позднейшее сообщение Жириновского о том, что у него мама русская, а папа юрист, некоторым образом является плагиатом.

Само собой разумеется, мое поступление на работу было всесторонне обсуждено на нашей коммунальной кухне.

– Нет, – сказала Полина Степановна, – этот долго работать не будет. Зачем ему работать? Лежать-то лучше.

Ее скептицизм был основан не на пустом месте. Дело в том, что незадолго до того я уже поступал на работу в газету «Московский водопроводчик» – орган трестов Мосводопровод и Москанализация. Редактором газеты был алкоголик (фамилию не помню), которому зарплаты на пьянство и на семью не хватало, поэтому он не только редактировал газету, но еще шил модельную обувь. Запирался в своем кабинете, пил водку и шил обувь, как ни странно, довольно хорошую и имевшую спрос. Газетой же он практически не занимался, все дела передоверил ответственному секретарю Всеволоду Абрамовичу Лившицу. А тот дал большую свободу мне. А я писал фельетоны на местные темы. О том, что где-то кому-то недопоставили трубы. Или поставили, но ржавые. Или не запасли дров на зиму. Или оставили на дороге открытый колодец. Или выпили спирт, отпущенный на лаборатор-

ные цели.

Писал я, между прочим, под разными псевдонимами. Иногда под псевдонимом В. Нович. Порой в качестве псевдонима брал фамилию кого-нибудь из своих реальных друзей. Одним из моих псевдонимов был О. Чухонцев. (С ныне знаменитым поэтом Олегом Чухонцевым я учился вместе в педагогическом институте.)

Иногда на мои фельетоны поступали опровержения (напрасные, потому что факты я всегда тщательно проверял), что товарищ Чухонцев не понял, товарищ Чухонцев не разобрался. Эти опровержения я пересылал Чухонцеву с сопроводительным письмом на редакционном бланке, в котором предупреждал, что, если товарищ Чухонцев и дальше намерен писать, не разобравшись, редакция будет вынуждена рассмотреть вопрос об отказе от услуг товарища Чухонцева. Конечно, это было с моей стороны некоторым хулиганством, но меня уволили не поэтому. А потому, что управляющему трестом Мосводопровод понадобилось устроить в газету племянника, а редактор газеты управляющему, естественно, отказать не посмел. Как всякий регулярный пьяница, он был трусоват, пил и знал, что его самого, чуть что, если не будет покладистым, выгонят. Поэтому он выгнал меня – как не выдержавшего испытательный срок, несмотря на сопротивление Лившица, который советовал мне жаловаться, а потом, когда слышал по радио мои песни, говорил редактору: «Видишь, пьяная рожа, кого ты выгнал». И редактор

терпел, зная, что если выгонит Лившица, то и сам вряд ли долго в газете удержится.

На радио я тоже был взят с испытательным сроком и тоже волновался, что больше месяца не продержусь.

Юмористические передачи нашей редакции составлялись из сочинений авторов, писавших в основном скетчи, фельетоны и юморески для эстрады и цирка. Материалов было очень много, но трудность для меня заключалась в том, что мои коллеги одни материалы выбрасывали в корзинку, а над другими хохотали, как сумасшедшие. Мне же все эти тексты казались одинаково ужасными, и я никак не мог понять, в чем состоит разница между плохим и хорошим. Готовя первую передачу «Веселого спутника», я пытался ориентироваться на господствующий в редакции вкус и выбрал из кучи материалов то, что, как я думал, должно понравиться другим редакторам и начальству.

– Какой кошмар! – сказал, прочтя этот текст, мой ближайший начальник Валентин Козлов. – У тебя что, совсем нет чувства юмора?

Одна из наших редакторов, Наташа Ростовцева, готовила в это время передачу из стихов африканских поэтов и предложила мне написать вступление. Я взял стихи, прочел их и приуныл. Это была просто какая-то абракадабра, во всей подборке я не нашел ни одной живой строчки. Что хорошего мог я об этом написать? Тем не менее я отнесся к заданию очень ответственно, трудился два дня и в конце концов выда-

вил из себя полстраницы текста, который по бездарности мог вполне соперничать с этими самыми стихами. «Черная Африка, спящая Африка пробуждается от вечного сна» – так, помню, начиналось это мое творение.

Испытательный срок подходил к концу, и я с тревогой ожидал момента, когда мне объявят, что в моих услугах редакция сатиры и юмора больше не нуждается. Судьба, однако, на этот раз оказалась ко мне более благосклонной, чем раньше.

Как-то к концу рабочего дня я заметил, что другая наша Наташа – Сухаревич – обзванивает подряд всех известных поэтов-песенников и просит их написать песню на «космическую тему». На вопрос, через какое время нужна эта песня, Наташа отвечала: «Через две недели».

Поэты были возмущены. Очевидно, что к этому жанру наша редакция относится несерьезно. Настоящая песня в попытках не пишется, она должна быть задумана, выношена, выстрадана. После того как ее обругал последний из знаменитостей поэт Лев Ошанин, Наташа совсем расстроилась и продолжала листать справочную телефонную книгу Союза писателей уже почти без всякого смысла. И тут я решился сказать ей, что если у нее под рукой все равно никаких поэтов нет, то я могу попробовать написать эту песню.

– Ты? – Она посмотрела на меня с недоверием. – А ты что, пишешь стихи?

– Пописываю, – признался я.

– Но ведь песни ты никогда не писал?

– Не писал, – согласился я, – но могу попробовать.

Она смотрела на меня, долго молчала, думала.

– Ну, хорошо, – произнесла наконец. – А сколько времени тебе нужно?

– Завтра принесу, – сказал я.

– Завтра? – не поверила она.

– Если тебе нужно, могу постараться сегодня.

– Сегодня не надо, – сказала она, – а завтра... Неужели к утру напишешь?

– Но ты же все равно ничего не теряешь, – резонно заметил я.

– Ну да, ты прав. Ну что ж, дерзай.

И я дерзнул. Не только в надежде удержаться на работе и убедить в чем-то Лейбсона. Мне было важно доказать самому себе, что не зря я взялся вообще за перо, что люди, не принявшие меня в Литературный институт и отвергавшие мои стихи в журналах, не правы, я не графоман, я поэт и могу работать в этом жанре на достаточно высоком профессиональном уровне.

Утром следующего дня я принес обещанный текст и, пока Наташа читала, следил за ее реакцией со страхом. А реакции никакой не было. Она читала текст, словно проходную газетную заметку, без всякого выражения. А потом придвинула к себе телефон и набрала номер:

– Оскар Борисович, у меня для вас есть потрясающий

текст. Пишите: «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут». Записали? Диктую припев: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды...» Что? Рифма? У вас, Оскар Борисович, испорченное воображение. Наши слушатели люди чистые, им такое и в голову не придет. «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Оскар Борисович, следы, а не то, что вы думаете.

Оскар Борисович Фельцман был уже очень известный к тому времени композитор, автор шлягеров, распеваемых в кино, на улицах, в поездах и ресторанах. Неужели он в самом деле напишет музыку и превратит мои слова в настоящую песню? Я настолько привык к неудачам, что еще одну принял бы со смирением...

К концу дня Фельцман позвонил: музыка готова, кто будет петь? Я сказал:

– Предложите Бернесу.

Бернеса не нашли, нашли Владимира Трошина. Песню записали на пленку, пустили в эфир, и она сразу стала знаменитой.

Мое материальное положение резко переменилось.

Я потом имел повод шутить, что денежная реформа 1961 года, когда стоимость рубля возросла в десять раз, меня никак не коснулась. Я как зарабатывал пятьсот-шестьсот руб-

лей до реформы, так продолжал зарабатывать и после нее. А потом и побольше.

Стремительный рост моего материального благополучия на нашей кухне незамеченным не остался.

– Интересно, – говорила Полина Степановна, обращаясь к своей постоянной аудитории, – как люди исхитряются на одну зарплату столько всего покупать. Ну пусть он даже сто пятьдесят получает. Так все равно ж столько не купишь. А он себе пальто купил, жене пальто купил, вчера телевизор пронес, как сундук.

Когда же я купил и для начала поставил в коридоре смазанный тавотом мотоцикл (впрочем, довольно скромный – «Ковровец»), Полина Степановна замолчала и пренебрегать мною уже не решалась. Наоборот, при каждом моем появлении заискивающе улыбалась и торопилась поздороваться первой. И другие соседи тоже, воспринимая меня теперь как большого начальника, вели себя не без подобострастия, особенно если моему отражению удавалось мелькнуть в телевизоре. Когда я (обычно поздно и в некотором подпитии) возвращался домой и шел по нашему длинному коридору, двери на моем пути поочередно приоткрывались, и из них шелестело почтительное «здравствуйте». А я, не замедляя движения, кивал налево и направо и отвечал:

– ...ссте... ссте... ссте.

И так было до самого того момента, когда в газете «Известия» появилась разгромная статья по поводу моей пове-

сти «Хочу быть честным». Статья называлась «Точка и кочка зрения». Она была подписана каким-то инженером из города Горького, но соседи правильно поняли (все-таки советские были люди), что такие статьи простые инженеры по своей воле не пишут, а значит, есть определенное указание сверху. Статья была внимательно прочтена и всесторонне обсуждена. Итог обсуждению подвела Полина Степановна.

– Ничего, – сказала она с таким чувством, словно мой ошеломительный и незаконный успех приносил лично ей крупные неприятности. – Ничего. Скоро Хрущев погонит его из писателей.

Но времена, как мы помним, были либеральные, оттепель, меня из писателей пока еще не погнали (через десять лет еще как погонят!), моя фамилия где-то продолжала мелькать. Полина Степановна примирилась с суровой реальностью и однажды, приблизившись ко мне в коридоре, утешила:

– Ничего. Хрущев тоже напустился на Жукова. И что? Ничего. Хрущев злобится, а тот себе ходит, побряхтывает, попердывает, живет.

Но это она мне скажет года через четыре после описываемых событий, а тогда, осенью 1960 года, у меня все шло хорошо. Это был год сплошного везения. В сентябре я написал первую песню, стал очень хорошо зарабатывать, и тогда же в «Новом мире» у меня приняли (и можно сказать, на ура) мою первую повесть «Мы здесь живем». На радио я уже не

боялся, что меня выгонят с работы, к своим редакторским обязанностям относился чем дальше, тем безответственней и, по существу, скоро вообще от исполнения их отказался. Я писал тексты песен и в этом качестве оказался очень удобным кадром. Любой редактор нашего отдела, составляя ту или иную программу, мог всегда заказать мне песню на нужную ему тему и мог не сомневаться, что она будет готова в нужный срок. Если надо – завтра. Если надо – даже сегодня. В день, когда был запущен в космос Юрий Гагарин, мне позвонили через несколько минут после старта. Когда Гагарин спустя девяносто минут вернулся на Землю, Оскар Фельцман уже писал музыку к моим словам, посвященным этому событию.

Я проработал на радио около полугода и за это время написал десятка четыре песен. Были среди них однодневки, были и широко известные. Но сам я, едва начав работать в этом жанре, сразу же потерял к нему интерес. Я доказал себе, что могу писать и так, и теперь меня волновало другое.

Однако история моей «космической» песни на этом не кончилась. Несмотря на то что она действительно очень скоро стала популярной и скоро ее стали даже называть «Гимном космонавтов», многие люди продолжали ее редактировать и переделывать.

С самого начала один редактор заменил в песне эпитет, вместо «планета голубая» написал «планета дорогая». На вопрос, почему он это сделал, он сухо ответил, что так лучше.

Потом мне позвонили из музыкальной редакции.

– Владимир Николаевич, мы хотим вашу песню про космонавтов записать на пластинку.

– Очень хорошо, – сказал я. – Давно пора.

– Но у нас к тексту есть одна претензия. Там у вас написано: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Почему эти тропинки пыльные?

– Видите ли, – взялся я объяснять. – На этих планетах дворников нет, а пыль оседает. Космическая пыль.

– Ну да. Может быть, оно и так, но вы как-то этим снижаете романтический образ. Давайте лучше напишем «на новых тропинках».

– Нет, – возразил я. – Это никак не годится. «На новых» можно написать, только если имеется в виду, что там еще были и старые.

– Ну хорошо, тогда напишите «на первых тропинках».

– Не напишу я «на первых тропинках».

– Почему?

– Потому что на пыльных тропинках – это хорошо, а на первых – это никак.

Советские редакторы удивляли меня всегда не своей политической бдительностью, а способностью находить в тексте и убирать из него как раз те слова, строки и абзацы, которые делают его выразительным.

Я отказался менять эпитет, музыкальная редакция отказалась издавать пластинку. Но потом, летом 1962 года, песню

дуэтом спели в космосе космонавты Николаев и Попович. А Никита Сергеевич Хрущев устроил им грандиозную встречу и, размахивая руками, прочитал с выражением с трибуны Мавзолея:

– На пыльных тропинках далеких планет останут... – Тут он запнулся, подумал и исправил ударение: – Останутся наши следы.

Быть процитированным советским вождем – это больше, чем получить самую высокую премию.

Вокруг песни и ее авторов начался ажиотаж. «Правда» напечатала песню в двух номерах подряд. Сначала красным шрифтом в вечернем экстренном выпуске и затем будничным черным шрифтом в утреннем номере. После этого мне позвонила та же дама из музыкальной редакции: «Владимир Николаевич, мы немедленно выпускаем вашу пластинку».

– Что значит немедленно выпускаем? – сказал я. – А вы спросили разрешения у автора?

– А вы можете не разрешить? – удивилась она.

– Нет, почему же. Я разрешаю, но у меня есть поправка.

– Какая поправка? – спросила она настороженно.

– Небольшая, – сказал я. – Там есть строчки насчет пыльных тропинок, так я бы хотел их как-нибудь переделать.

– Вы смеетесь! – закричала она. – Вы знаете, кто цитировал эти строки?

– Я знаю, кто их цитировал. Но я также знаю, кто их написал. Так вот написавшему кажется...

Конечно, я над ней издевался. Но поиздевавшись, разумеется, уступил. Пластинка была выпущена, но покушения на текст на этом не кончились. После встречи на Красной площади и в Кремле Николаеву и Поповичу было устроено чествование и на телевидении. Героев приветствовала толпа, состоявшая из так называемых передовиков производства, артистов, военных, поэтов, композиторов и секретаря Чувашского (Николаев – чуваш) обкома КПСС. Космонавты совсем ошалели от свалившихся на них почестей. Но вели себя по-разному. Николаев как будто даже стеснялся, а Попович в упоении славой выпячивал грудь, принимал импозантные позы и строил глазки актрисе Алле Ларионовой. А когда Владимир Трошин спел теперь уже специально для них песню о пыльных тропинках, он решил показать, что и в этом деле тоже кое-что понимает.

– Вот у вас там поется «закурим перед стартом», – сказал он, – а мы, космонавты, не курим.¹

– Это мы исправим! – закричал кто-то.

И исправили.

Хотя я доказывал исправителям, что писал вовсе не о Поповиче, который до пыльных тропинок не долетел, а о космонавтах отдаленного будущего, для кого полеты в космос станут делом обычным, будничным. Покурил, растоптал

¹ Между прочим, недавно из телевизионной передачи я узнал, что некоторые нынешние космонавты на земле все-таки курят, и перед стартом им разрешают выкурить по последней сигарете.

окурок, полетел. Тут уж меня никто не послушал, потому что космонавты тогда заживо причислялись к лику святых. Их критиковать было нельзя, а они могли себе позволить многое, в том числе, естественно, могли и сколько угодно вмешиваться в литературу, и давать указания авторам, что, впрочем, позволялось делать всем кому не лень – партийным функционерам, кагэбэшникам, сварщикам, банщикам, токарям, пекарям и дояркам. Песню исправили и вместо «Давайте-ка, ребята, закурим» пели «споемте перед стартом».

Как-то, будучи в Доме литераторов, я услышал, что в одном из залов перед писателями выступают Николаев и Попович.

Я пошел туда и у ведущего Евгения Рябчикова попросил разрешения сказать кое-что. Тот, думая, что я, очевидно, пришел сказать гостям что-то приятное, охотно предоставил мне слово. Я выступил и сказал, что когда-то учился в аэроклубе и умею летать на самолете По-2 (знаменитом «кукурузнике»).

– Так что, – сказал я космонавтам, – я в вашем деле понимаю примерно столько же, сколько вы в моем. Но я же вас не учу, как надо летать на космических аппаратах, а вы меня учите, что и как я должен писать.

Разумеется, космонавтам, привыкшим только к похвалам, мое замечание не понравилось, и песня продолжала звучать в исправленном виде.

За полгода своих усилий в песенном жанре я был весь-

ма продуктивен, но из всех сочиненных мной песен самой знаменитой оказалась самая первая. Успех ее меня немного смущал, но это продолжалось недолго. Когда меня начали наказывать за плохое поведение, то мои книги, пьесы и киносценарии сразу запретили. А песни разные, но эту, дольше других, продолжали исполнять. Правда, без упоминания имени автора текста. А потом и вовсе убрали слова, оставили только музыку. Лет через двадцать, когда я стал опять разрешенным писателем, на песню эту тоже опала окончилась. Но уже наступили новые времена. И народ запел новые песни.

А за два года до написания песни случилась история, которую я впоследствии описал и назвал:

Советский антисоветский человек

Многие люди, попав из Советского Союза на Запад, испытывают на новом пути известные трудности, нуждаются в помощи и стараются как-то обратить на себя внимание местного общества. В этом смысле, как я заметил, выгоднее всего быть бывшим работником КГБ. Если человек, явившись в полицию, сообщает, что он служил в Комитете государственной безопасности, был там капитаном, майором или подполковником (чем выше, тем лучше), он может рассчитывать на самое благосклонное к себе внимание. К нему тут же сбегаются агенты разных спецслужб и журналисты, его возят на военных самолетах, его показывают по телевидению, а издатели шлют ему чеки с пяти-, а то и с шестизначными числами. Если человек не сумел представить достаточно убедительных доказательств своей службы в Комитете государственной безопасности, он может, по крайней мере, сказать, что был стукачом, то есть доносчиком, подслушивал чьи-то разговоры, а затем встречался с каким-нибудь профессионалом в шляпе где-нибудь в скверике, или на частной квартире, или в отделе кадров и там сообщал, кто-где-чего сказал. Таким людям на очень большое внимание публики рассчитывать не приходится, но и из этих признаний можно что-то извлечь. А кто не хочет признаться, что был стукачом, может ограничиться признанием в том, что был дураком. Я был ду-

рак, я верил в марксизм-коммунизм, в Ленина-Сталина и так далее. Верил, а потом разуверился, стал сразу умным. Один поумнел после доклада Хрущева, другой после венгерских событий, третий после Чехословакии, четвертый дожидался Афганистана.

Мне в этом смысле похвастаться совершенно нечем. Дураком я, может, и был, но Сталина ненавидел лет примерно с четырнадцати, в Ленине сомневался, в КГБ не служил и даже стукачом, честно признаться, не был. Но встречаться и разговаривать с чекистами приходилось.

О первой встрече с ними я и хочу сейчас рассказать.

Туманным и морозным утром в январе пятьдесят девятого года я был разбужен громким и истеричным стуком. Выглянув за дверь, я увидел полуодетую хозяйку, бывшую танцовщицу Большого театра Людмилу Алексеевну.

– Володя, – сказала она ужасно встревоженным голосом, – какой-то человек ломится с черного хода и говорит, что он ваш товарищ.

Я посмотрел на часы, было половина девятого. Я вставал обычно гораздо позже, потому что очень поздно ложился.

Мои хозяйки – мать Ольга Леопольдовна Паш-Давыдова и ее дочь Людмила Алексеевна, обе в прошлом артистки Большого театра, а теперь обе пенсионерки, (матери было за восемьдесят, дочери под шестьдесят), сохраняли старые привычки и раньше трех часов ночи никогда не ложились. Я тоже привык к их распорядку, и если случайно засыпал рань-

ше, то приходила Ольга Леопольдовна, долго стучала в дверь и, достучавшись, говорила:

– Володя, вы не спите? Я пришла пожелать вам спокойной ночи.

Покойный муж Ольги Леопольдовны был одним из первых в СССР народных артистов Республики, поэтому они были редкими среди москвичей счастливчиками, обладавшими отдельной четырехкомнатной квартирой в центре Москвы. В одной комнате жили они сами и большой королевский пудель, в другой дочь Людмилы Алексеевны с мужем, новорожденным ребенком и овчаркой Нелькой, третья комната стояла пустая, если не считать маленькой и злобной собачонки (тибетский терьер), которая там сидела постоянно в углу. Четвертую комнату занимал я. Комната моя, если ее можно так назвать, была размером меньше четырех метров. Из мебели в ней были только большая, от стены до стены, железная кровать и стул, который между кроватью и подоконником можно было поставить лишь боком. Подоконник был глубокий и служил мне письменным столом. На нем стояла моя, купленная за бесценок, пишущая машинка и лежало наваленное грудой все собрание моих ненапечатанных сочинений. Собрание это медленно, но неуклонно росло, потому что я еще был молод, полон сил и надежд и работал каждый день, помногу и фанатично.

Я снял эту комнату совсем недавно, никто не знал моего адреса, включая самых ближайших друзей. Никакого това-

рища, который мог бы прийти ко мне ни с того ни с сего, у меня не было.

Вместе с хозяйкой я пошел к черному ходу. Все три собаки, вырвавшись в коридор, отчаянно лаяли.

– Кто? – спросил я.

– Владимир Николаевич, – послышался смущенный голос, – откройте, пожалуйста, я к вам на минутку.

Я удивился и заподозрил неладное. Хотя мне было уже двадцать семь лет, я был всего лишь студентом и по имени-отчеству меня тогда еще не называли.

Вместо того чтобы пригласить незваного гостя пройти через нормальный подъезд, мы с Людмилой Алексеевной стали разгребать тамбур черного хода, вытаскивая из него какие-то корыта, ведра и картонные ящики. Наконец открыли дверь и увидели перед собой сравнительно молодого человека в очках, который сразу стал просить:

– Только, пожалуйста, уберите собак.

– А кто вы такой и что вам нужно?

– Я сейчас вам все объясню.

Всех трех собак убрали, Людмила Алексеевна удалилась, мы с пришедшим остались в гостиной один на один.

– Что вам нужно? – спросил я его.

– Сейчас, сейчас все объясню, – торопливо закивал он своей головой с большими залысинами. И понизив голос, быстро спросил: – Нас никто не слышит?

– Нас никто не слышит.

– А собачек убрали? Они не могут сюда ворваться?

– Нет, не могут. Они еще сами двери открывать не научились.

– А, ну да, дверь открывается в ту сторону. А нас никто не слышит?

– Я не знаю, – я повысил голос, – слышит нас кто или не слышит, я с вами шепотом разговаривать не собираюсь. Что вам нужно?

– Сейчас, сейчас. Сейчас все объясню. Так вы думаете, что нас никто не слышит?

До того я ни разу не сталкивался с работниками КГБ, не представлял себе, как они выглядят, честно говоря, в то время вообще не думал о них, но сейчас я даже не сомневался в профессии моего гостя.

– Владимир Николаевич... Нас никто не слышит?

– Нет, нас никто не слышит.

– Очень хорошо, хорошо, хорошо. Я вам верю, что нас никто не слышит. Я к вам пришел по поручению студенческого литературного общества.

– Это что еще за общество? – спросил я.

– А просто студенческое общество. При... при... при Московском университете. Мы собираемся, читаем стихи, обсуждаем. Нас никто не слышит?

– И что же вы хотите от меня?

– А ничего, ничего. Ничего особенного. Мы просто хотели бы, чтобы вы у нас выступили. Мы читали ваши стихи в

«Вечерней Москве», и, кроме того, некоторые наши товарищи слушали ваше выступление в Измайловском парке. И вот мы хотели бы... Нас никто не слышит?.. вас пригласить.

– Когда? – спросил я.

– А прямо сейчас, сейчас.

– Прямо сейчас? – переспросил я. – В половине девятого утра? Ваши студенты, они что же, по утрам не учатся?

– Ну что вы, Владимир Николаевич, конечно, учатся, учатся. Но у нас есть наши общественники, которые хотели бы поговорить с вами предварительно. Нас никто не слышит? Может, мы пройдем, это совсем рядом.

– А зачем я туда пойду?

– Ну мы договоримся. Может, вы согласитесь у нас выступить. Я надеюсь, вы не против?

Он внушал мне и какой-то непонятный страх, и отвращение, и желание как-то от него отвязаться, и неожиданно для себя я вдруг сказал, что выступаю только за деньги. Это было чистое вранье, потому что хотя я и выступал несколько раз перед публикой в составе литературного объединения «Магистраль», но денег мне за мои выступления никто никогда не предлагал.

– Как за деньги? – опешил он. – Мы же студенческое общество, у нас нет никаких денег.

– Ну раз нет, значит, нет, а я бесплатно не выступаю.

– Нет, нет, нет, Владимир Николаевич... Нас никто не слышит? Ну как же так, за деньги?

И у нас начался длинный и бессмысленный торг, во время которого он никак не мог понять, почему я, студент и всего лишь начинающий поэт, а не профессионал, проявляю такую алчность, а я тоже почему-то стоял на своем и требовал денег и, видя, что это требование смущает его, настаивал еще решительнее, на самом деле вовсе не из меркантильных соображений, а пытаюсь таким иррациональным способом отстранить от себя непонятную, но ощущаемую мною опасность. Надо сказать, что мое пристрастие к деньгам как-то, видимо, сбило его с толку, он даже перестал интересоваться, слышит ли нас кто-нибудь, и долго, но невразумительно настаивал на бесплатности моего выступления, хотя мог бы и согласиться, он ничего не терял. Почему он так сбился с толку, я сказать не могу, скорее всего потому, что разговор сошел с предусмотренного предварительной разработкой направления. Наконец мне этот разговор надоел, я встал и довольно грубо предложил ему выйти и подошел к двери, чтобы ее открыть.

– Подождите, подождите, подождите, – зашелестел он почти в истерике. – Владимир Николаевич, нас никто не слышит? Я надеюсь, нас никто не слышит. Я вам не совсем правильно представился. Сейчас я вам представлюсь иначе.

Он тут же преобразился. На его лице появилось выражение надменности и самодовольства. Царственно он сунул руку в боковой карман, где лежат документы.

– Не трудитесь, – сказал я ему, – я и так вижу, кто вы та-

кой. – На лице его смешались выражения боли и разочарования. Ему, видимо, казалось, что он так ловко и артистично вел свою роль.

– Как вы догадались? – спросил он упавшим голосом.

– Это было нетрудно, – сказал я. – Я не очень часто, но все-таки читаю детективные книжки, и в них все сыщики похожи на вас.

– Да?

Я видел, что мои слова его покоробили. Он обиделся. Впоследствии, когда я познакомился еще с несколькими его коллегами, я заметил, что кагэбэшники, как люди ущербные, в большинстве своем очень обидчивы. В этой обидчивости проявляются остатки того человеческого, что было в них заложено от рождения. Какими бы общими или личными теориями они ни руководствовались, чем бы ни оправдывали свою деятельность, они чувствуют, что она презренна. Впрочем, есть и не обидчивые, они – самые опасные.

– Ну что ж, ну что ж, – сказал мой собеседник разочарованно. – Ну догадались, так догадались. Ну тогда пойдем, – предложил он, не то прося, не то приказывая.

– Тогда пойдем, – согласился я.

Надо сказать, что, хотя я и разговаривал с ним весьма непочтительно и насмешливо, я ужасно испугался. Пожалуй, я никогда так не пугался ни до, ни после. Я был начинающим поэтом. Мне казалось, что из меня должно что-то получиться. Но в то же время во мне постоянно жило ощущение, что

что-то должно произойти роковое, что помешает мне осуществиться. То ли обнаружится быстрая и неизлечимая болезнь, то ли попаду под машину, то ли что-то еще.

Между тем я был настоящим советским человеком. Советскость моя проявлялась вовсе не в том, что я любил советскую власть или верил в марксизм-ленинизм-коммунизм. Во все это я как раз совершенно не верил и всю советскую пропаганду считал пустыми словами для дураков. Как подавляющее большинство людей, которых я встречал в своей жизни, я ненавидел всю советскую словесную трескотню, презирал политзанятия, собрания, митинги, демонстрации, выборы и субботники, старался от всего этого уклоняться, но на рожон не лез. Много лет спустя я осознал, что именно в этом и проявлялась моя советскость. Я был тот пассивный член общества, от которого власть не ждет никогда для себя особенной пользы. Где бы я ни работал или ни служил, начальство административное и партийное всегда знало, что никакой идеологической активности от меня ожидать нечего. Меня никогда не приглашали вступить в партию и даже не пытались завербовать в стукачи (даже в этом случае, о котором я сейчас рассказываю), но в то же время как член общества я был совершенно безвреден. Как раз молодые люди, которые всерьез интересовались теорией коммунизма, погружались в Маркса, Ленина или Сталина, были для режима гораздо опаснее, и советская власть это в конце концов осознала. Человек, всерьез воспринимающий теорию, рано или поздно

начинает ее сравнивать с практикой и в конце концов отвергает или то, или другое, а затем и то и другое. Человек же, не обольщенный теорией, к существующей практике относится как к привычному и неизменному злу, к которому, однако, можно кое-как приспособиться.

Итак, я утверждаю, что я был вполне советским человеком. Советскость моя проявлялась, кроме того, в том, что я вполне ожидал от власти чего угодно, но именно поэтому неспособен был к протесту в самом главном. Мое правосознание было равно нулю. Хотя с пришедшим ко мне человеком я говорил в несколько ироническом и неприятном ему тоне, но в главном я с ним тут же вступил в негласное соглашение.

Я испугался и вполне допускал, что меня сейчас уведут навсегда и никто никогда не узнает, куда я делся. Представления о том, что, не совершив никакого преступления, я могу против такого увода протестовать, у меня не было. Я не проверил документы пришедшего, не оспаривал его права вести меня туда, куда он хочет.

Когда мы вышли с ним в коридор, там стояла хозяйка, уже одетая.

– Володя, – спросила она меня, стараясь не глядеть на моего провожатого, – вы надолго уходите?

Я повернулся к нему и спросил громко, давая понять хозяйке, кто он:

– Я надолго ухожу?

– Нет, нет, нет, что вы! – вернулся он к своей как бы смущенной манере. – Он очень, очень скоро вернется.

Я потом думал, как хитро дал я понять хозяйке, куда я ухожу.

Я думал, что на улице меня ждет «черный ворон», куда меня втащут, заламывая руки. Но никакого «ворона» не было, и мой провожатый предложил мне пройти пешком. Это меня удивило, но я пошел.

Дорогой он разговаривал со мной уже не заискивающе, а снисходительно. Он спросил меня, почему я пишу такие грустные стихи, и я, понимая, что меня можно расстрелять за то, что я пишу грустно, стал возражать, что стихи мои хотя и грустны, но содержат элементы внутреннего оптимизма. По его лицу я видел, что мои утверждения не кажутся ему убедительными. И он поглядывал на меня, как на заблудшего молодого человека, которого жаль, но придется все-таки расстрелять.

Мы шли очень долго какими-то кривыми переулками, и я насмешливо (во всяком случае, мне казалось, что я был насмешлив) спросил провожатого, не заблудились ли мы.

– Да, да, возможно, – сказал он с видимым беспокойством. – Может быть, заблудились. А впрочем, нет. Кажется, не заблудились. – И он указал на вывеску, на которой было написано:

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

– Вот видите, – сказал он еще раз, как бы гордясь своим знанием прилегающих переулков. – Все-таки не заблудились.

Совершенно не помню, через какие двери мы вошли, спрашивали ли у него или у меня документы, какие там были лифты или коридоры. Помню только, что мы вошли в какой-то кабинет, где за большим, но скромным столом сидел обыкновенный человек небольшого роста в сером костюме. Он подал мне руку, назвал себя по имени-отчеству, назвал и меня по имени-отчеству. Он предложил мне стул и сразу спросил:

– Владимир Николаевич, как вы думаете о себе, вы советский человек?

У меня немного отлегло от сердца. Если они еще не решили, советский я или не советский, значит, может, и расстреляют не сразу. Я тут же горячо заверил его, что я, конечно, советский.

– Правильно, – сказал он, – я в этом нисколько не сомневался. Вы советский человек, и вы нам должны помочь. Вы

нам поможете, мы вам поможем, а вы поможете нам – и мы вам поможем. – Он потер руки и, предвкушая удовольствие, усталился на меня. – Ну рассказывайте.

– Что рассказывать? – спросил я, искренне недоумеваю.

– Расскажите, что знаете.

– Я ничего не знаю.

– Ну Владимир Николаевич, – заулыбался хозяин кабинета и переглянулся с тем, который меня привел (тот сидел в углу). – Ну что-то же вы знаете!

– Что-то я, может быть, знаю, но я не знаю, что именно вас интересует.

– Нас все интересует.

– Я вас не понимаю, – сказал я.

– Владимир Николаевич, – всплеснул он руками в некотором даже как бы отчаянии. – Ну вы же советский человек?

– Ну конечно, советский, но я не понимаю, чего вы от меня хотите.

Тогда он мне сказал, что он хочет от меня, чтобы я ему откровенно (вы нам поможете, мы вам поможем) рассказал, с кем я общаюсь и где бываю.

Я не сомневался в его праве спрашивать, но и точно знал, что надо уклоняться от ответов на любые вопросы. И сказал, что ни с кем не общаюсь и нигде не бываю.

– Но как же, как же, как же, – восторженно воскликнул тот, который меня привел. – Но вы же были на художественной выставке и там смотрели абстрактные картины.

Ах вот оно что! Хотя это была выставка совершенно официальная и никто не предупреждал, что ходить на нее не надо, но как советский человек я должен был понимать, что на абстрактные картины лучше все-таки не смотреть. Я не спросил своих собеседников, откуда они знают, что я был на выставке и что от абстрактных картин не отворачивался, но их осведомленность вселила в меня надежду, что они знают и то, что картины эти абстрактные мне самым решительным образом не понравились. Я им и сейчас охотно сказал, что мне эти абстрактные картины не понравились.

– Да, они никакому нормальному человеку не могут понравиться, – глубокомысленно заметил старший, и младший тут же его поддержал:

– Да, да, да, это профанация искусства.

– А что вы думаете о Пастернаке? – спросил старший.

Я сказал, что о Пастернаке ничего не думаю, и это было чистой правдой, читать Пастернака и думать о нем я стал гораздо позже. А в то время из всех советских поэтов я выделял Симонова и Твардовского, а из прозаиков Шолохова, и это совпадало с их представлениями о здоровом вкусе нормального советского человека.

Но они все же были чем-то недовольны, и старший сначала вроде случайно обронил, а потом стал все чаще повторять эту фразу: «Ну смотрите, а то пеняйте на себя».

Однажды он вдруг прервал разговор и куда-то выскочил. Как только он исчез, младший подошел к его столу, взял

обыкновенную деревянную линейку, вернулся на свое место и, держа линейку в виде пистолета, стал целиться в меня, загадочно ухмыляясь, но ничего не говоря.

Прибежал старший, и опять началось: «Вы нам поможете, мы вам поможем, а если вы нам не поможете, пеняйте на себя».

И опять ничего конкретного.

– Ну хорошо, а с кем вы дружите?

– Я ни с кем не дружу.

– А Литовцев и Польский?²

С Литовцевым и Польским мы вместе учились в институте и читали друг другу свои стихи. Отрицать, что я с ними общаюсь, было бы глупо.

Я сказал:

– Ах да. Литовцев и Польский. Мы вместе учимся, мы все трое пишем стихи, ну и общаемся.

– А о чем вы разговариваете?

– Ну о стихах, например.

– А еще о чем?

– А больше ни о чем.

– Как это – больше ни о чем? – Он все чаще повышал на меня голос. – Даже о девушках не разговариваете?

– Нет, не разговариваем, – разозлился я. – Я человек женатый, у меня дочка родилась, и я ни о каких девушках не разговариваю.

² Фамилии изменены.

– Ну, ну, ну, ну! – иронически отозвался из своего угла младший.

– Ну хорошо, – сказал старший, – оставим девушек. А о политике вы разговариваете?

– Не разговариваем, – сказал я.

– Как это вы не разговариваете? Вас что же, политика не интересует?

– Не интересует, – сказал я, и в то время это было чистой правдой.

– Как же это вы советский человек, а политика вас не интересует?

– А вот так, – сказал я, все больше выходя из себя. – Я советский человек, а политика меня не интересует.

– Ну хорошо, девушки вас не интересуют, политика не интересует. А какие у вас отношения с иностранцами?

Тут я совсем вышел из себя и закричал:

– Какие иностранцы? Что вы глупости мелете? Я вообще ни одного иностранца не знаю.

– Как же, как же, как же, – забормотал из своего угла молодой. – А израильский дипломат?

Тьфу, черт! Я даже сплюнул с досады. Или мне сейчас кажется, что я сплюнул.

А история была такая.

Как-то проходя с Игорем Литовцевым по Кузнецкому мосту, мы зашли в книжный магазин, и Литовец обнаружил, что дают сборник стихов Аврама Гонтаря.

– Кто это – Гонтарь? – спросил я.

– Ты разве не знаешь? Очень хороший еврейский поэт.

Надо купить.

Мы стали в очередь в кассу и выбрали чеки на два сборника. Но когда подошли с чеками к прилавку, оказалось, что сборник уже распродан, кучерявый гражданин перед нами взял последние четыре экземпляра.

Услышав наш разговор с продавщицей, кучерявый немедленно обернулся и сказал, что, если мы интересуемся Гонтарем, он нам с удовольствием подарит по экземпляру, и тут же стал эти экземпляры вручать. Мы стали отнекиваться, он пристал, вшестером (с ним были двое маленьких и тоже кучерявых от четырех до шести лет мальчишек) вышли на улицу. Книжки мы у него взяли, но он тут же напел на Литовцева и стал спрашивать его, зачем СССР проводит антисемитскую политику. Литовцев начал что-то мямлить. Я, будучи действительно советским человеком и действительно не разбираясь в политике, ринулся на помощь Литовцеву и сказал, что никакой такой политики СССР не проводит. Кучерявый сказал, что как секретарь израильского посольства он точно знает, что говорит. И продолжал напел на Литовцева, полностью меня игнорируя. Стал стыдить Литовцева, что он не знает еврейского языка и еврейской культуры. Я ему сказал, что Литовцев не еврей, а чистый русский и для русского человека он еврейскую культуру знает достаточно.

Не знаю, за кого принимал меня израильтянин, может

быть, за комиссара, приставленного к Литовцеву, но он явно говорить со мной не хотел и все время поворачивался ко мне спиной, а Литовцева, несмотря на мои уверения, продолжал стыдить за то, что тот не признается в своем еврействе. Литовцев что-то мямлил в ответ, из чего было видно, что он действительно стыдится. Дети дипломата тащили его за руки, он долго сопротивлялся, но в конце концов сдался, сел в свою машину и уехал. А мы с Литовцевым пошли дальше пешком.

Я все чаще срывался и сказал старшему:

– А зачем вы спрашиваете, вы же подслушивали и сами все знаете.

– Почему это, почему это вы думаете, что мы подслушивали? – донеслось из угла.

– А откуда же вы знаете про этого израильянина, если не подслушивали?

– Ну ладно, – сказал старший раздраженно. – Откуда знаем, откуда знаем. А почему вы сами к нам не пришли и не рассказали?

– А почему я должен к вам приходиться?

– Как это почему? Вы же советский человек?

– Да, – сказал я гордо, – советский. Но я не думал, что если кого встретил, то тут же немедленно должен к вам бежать.

– Как же вы не думали. Вы же видите, что это провокационная сионистская пропаганда. Ну да, вы же политикой не интересуетесь. Вы интересуетесь только стихами. А какие у

вас в литобъединении «Родник» стихи читают?

– В каком литобъединении? – спросил я.

– Ну как ваше объединение в институте – «Родник» называется? – спросил старший и посмотрел на младшего.

– «Родник», «Родник», – подтвердил тот авторитетно. И тут мне совсем полегчало. Я-то думал, что они действительно обо мне все знают, а оказывается, кое-чего все же не знают.

– А вы знаете, – сказал я злорадно, – что я на этом «Роднике» ни разу в жизни не был?

Тут я заметил, что мой ответ чем-то их сильно обескуражил. Старший строго посмотрел на младшего, тот как-то съежился, виновато, как мне показалось.

– И вы даже не знаете, кто староста этого кружка? – спросил старший.

– Понятия не имею, – ответил я совершенно чистосердечно.

– Ну хорошо, – смутился старший, – тогда скажите, а о чем говорят ваши профессора на лекциях?

– А вот на этот вопрос, – съехидил я (и до сих пор вспоминаю свой ответ с удовольствием), – мне бывает трудно ответить даже на экзамене.

– Почему? – не понял моей шутки старший.

– Потому, – сказал я злобно, – что если уж вы следили за мной, то должны были бы заметить, что в институте я бываю очень редко, да и то прихожу в основном за стипендией. И

если бы вы проверили список у старосты нашей группы, то вы бы увидели, что против моей фамилии у него написано: не был, не был, не был.

На этом допрос закончился, но не совсем. Старший еще сказал мне, что, с одной стороны, он верит, что я настоящий советский человек, а с другой стороны, сомневается. И если я что-нибудь им не сказал или сказал не так, то я должен буду пенять на себя. И что я должен пойти еще и подумать и прийти к ним в следующий вторник.

– И заодно, – сказал он, – принесите ваши стихи. Мы читаем, и мы вам поможем. Вы нам поможете, а мы вам поможем. А если вы нам не поможете, то пеняйте на себя.

После чего мне было предложено дать подписку о неразглашении, что я, как советский человек, сделал безропотно. А выйдя из КГБ, как советский человек, тут же побежал к своим приятелям и все рассказал. И уже от них узнал вот что.

Оказывается, не бывая в институте, я пропустил сенсацию. Староста нашего литобъединения «Родник» арестован за то, что писал антисоветские стихи. И я этого старосту знал, но не знал, что он староста. И даже знал некоторые его стихи. Однажды, прижав меня в угол, он читал мне стихи, из которых я запомнил две строчки:

...И те, кто нынче нами возвеличен,
Завтра задрожат на фонарях.

Стихи эти мне не понравились.

Будучи советским человеком, я такие стихи не любил. Будучи несоветским, не люблю тоже.

Сейчас, вспоминая эту свою первую встречу с КГБ, я думаю, какой я был невежественный в правовом отношении человек! Всякий, в ком есть хоть капля правосознания, скажет мне, что я допустил кучу элементарнейших промахов. Во-первых, еще на квартире я, как только узнал, что передо мной работник КГБ, должен был проверить его документы. Во-вторых, я должен был отказаться идти в КГБ без повестки. В-третьих, на допросе я должен был потребовать сообщить мне, по какому делу я вызван, и настоять на ведении протокола. Ну и насчет подписки – я не знаю, кажется, требование ее незаконно.

Но если бы я был такой умный, продемонстрировал кагэбэшникам знание законов и высокий уровень правосознания, они бы уже тогда взяли меня на заметку, и как бы сложилась моя судьба, никому не известно. Но я был самый настоящий советский человек, который не верит ни в марксизм-ленинизм, ни в законы, ни в правду, ни в право. В своих тогдашних отношениях с КГБ я выбрал самую идиотскую линию поведения, и именно она оказалась самой правильной.

Прошло несколько лет. Мое положение резко изменилось. Из самого нижнего социального слоя я передвинулся не в самый высший, но все же довольно высокий: стал членом привилегированной касты советских писателей. Постепенно ста-

ло меняться мое мироощущение. Я начал осознавать, что у меня как у личности и члена общества есть какие-то обязанности и какие-то права. Я уже больше разбирался в советских законах и прибегал к их помощи в практической жизни. Но чем скрупулезнее я соблюдал эти законы, тем большими становились мои неприятности. В конце концов я из писательской касты был изгнан и лишился даже тех мизерных возможностей (например, возможности устройства хотя бы на самую низкооплачиваемую работу), которые у меня были, когда я был плотником или студентом. Меня сначала практически, а затем и официальным указом лишили звания советского человека и объявили врагом советской системы. И совершенно справедливо. Потому что, дойдя умом до того, что законы в Советском Союзе все-таки существуют, я забыл то, что раньше знал инстинктивно: никаких законов в Советском Союзе нет. Важны, как я уже говорил, вовсе не писанные законы, а неписанные правила поведения.

Слушали, постановили.

А когда я решил уважать советские законы и пренебречь неписаными правилами поведения, тогда и начались у меня неприятности и персональные дела. Первое дело в 1968 году за подписание коллективных писем в защиту сначала Синявского и Даниэля, потом Гинзбурга и Галанскова кончилось строгим выговором с занесением в личное дело и запретом (это добавлялось автоматически) всех публикаций, второй выговор (строгий с последним предупреждением) я

получил два года спустя, после того как первая часть «Чонкина» сперва в виде рукописи ходила по рукам в Самиздате, потом попала в эмигрантский журнал «Грани» и была там опубликована без моего разрешения. Тогда меня обрабатывали долго и нудно, а потом, в июле 1970-го, произошло вот что.

Очередной раз позвонил Виктор Николаевич Ильин, секретарь Московского отделения Союза писателей РСФСР, бывший генерал КГБ.

– Ну как матушка?

– Сделали операцию.

– И что оказалось?

– Не рак.

– Слава богу! – закричал он в трубку с большим чувством и слишком уж фальшивя. – Слава богу! Но теперь-то вы можете прийти?

– Когда?

– Ну, скажем, завтра.

– Нет, послезавтра.

Сам не знаю для чего, но я взял манеру всякий раз назначать не ту дату, которую называл он, и хоть этим хоть чуть-чуть отстаивать видимость своей независимости.

Всякий раз он легко соглашался, и сейчас тоже:

– Ну хорошо, приходите послезавтра.

Послезавтра я пришел в назначенное время, часа в два

или три дня. Прихожу, Ильин сидит за своим столом, напротив у стены расположился Лазарь Карелин, рядом с Карелиным какой-то неизвестный мне человек по фамилии, как я потом узнал, Болдырев.

– Садитесь, где вам удобно, – сказал Карелин. – Как, жарко сегодня?

– Да, – говорю, – не холодно.

Сажу, жду, когда они уйдут, но они не торопятся. Больше того, вошел еще некий Тельпугов с бритой наголо головой пятьдесят четвертого размера. Еще появился некто мне неизвестный по фамилии, тоже узнал потом, Брагин.

Сидят просто так, говорят кто о чем.

– А вот я слышал по Би-би-си, – сказал Болдырев, – какой-то человек организовал альпинистскую школу для детей. Мне бы дали, я бы тоже с удовольствием такую школу организовал.

Я удивился, что это он в таком официальном кабинете так спокойно говорит про Би-би-си. Правда, другие, мне кажется, тоже удивились, потому что никак на его сообщение не отреагировали и кто-то опять сказал, что очень жарко.

Вдруг Ильин, кончив возиться со своими бумагами, поднял голову и, не глядя на меня и никак не объявляя названия происходящего действия, сказал:

– Товарищи, мы собрались, чтобы обсудить повесть Владимира Войновича, – он заглянул в бумажку, – «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Эту

повесть...

– Не повесть, это часть романа! – закричал я с места.

– Эту повесть Войнович предлагал советским изданиям, – продолжал Ильин, пропустив мимо ушей мою реплику, – которыми она была отвергнута...

– Не была она никем отвергнута! – крикнул я.

– ...и некоторое время спустя она появилась в издающемся во Франкфурте-на-Майне антисоветском журнале «Грани». Нам, товарищи, предстоит обсудить идейно-художественное содержание повести Войновича и высказать свою оценку. Кто хочет высказаться?

Совершенно не ожидавший такого развития событий, я, тем не менее, сказал, что именно я и хочу высказаться. Ильин согласился, но с большой неохотой.

– Виктор Николаевич, – сказал я, – я пришел сюда, чтобы поговорить с вами. А вас здесь так много. Кто вы?

– Вы разве нас не знаете? – обиделся Карелин.

– По отдельности некоторых знаю, а кто вы все вместе? Бюро? Комитет? Совет?

– Владимир Николаевич, это комиссия, – объяснил Ильин. – Комиссия, созданная секретариатом для расследования, как и при каких обстоятельствах ваша повесть...

– Да не повесть...

– ...попала в белогвардейский антисоветский журнал «Грани» и была там опубликована.

Я обрадовался. Вот сейчас я их выведу на чистую воду.

– Ну и как? – спросил я не без ехидства. – Что комиссия выяснила? Каким образом моя рукопись попала в «Грани»? Они отвечать не торопились.

– А я, между прочим, заявлял вам, Виктор Николаевич, что я эту рукопись сдавал в секретариат для подготовлявшегося альманаха, а она именно из секретариата пропала. Так что для выяснения вам не надо сразу ехать во Франкфурт, а надо поискать здесь.

Мне казалось, что я их здорово прижал к стене и они не найдутся даже, что и сказать. Сколько раз я слышал о других, которые в подобных случаях ловко находили аргументы, и о том, как их противники терялись, и отвечали невпопад, и иногда, или почти всегда, или, точнее, всегда пороли глупости. И все это очень наивно. На самом деле, готовясь к подобным заседаниям, они и не рассчитывают на ловкость во всех случаях. Им важно гнуть свою линию, им, в общем-то, все равно, будут они выглядеть умными или полными дураками, при случае они ответят впопад, при случае они будут радоваться, если жертва окажется ненаходчивой, но если все будет наоборот, то и это не имеет значения, они же пришли не истину выяснять, они пришли с дубиной, и они ее употребят.

Из моих записей того времени:

Виктор Тельпугов сказал, что это неважно, как повесть (вопреки моим протестам они называли часть романа пове-

стью, чтобы считать ее законченным антисоветским произведением) попала за границу, неважно, кем она была напечатана, важно то, что она вообще была написана. «Если бы я даже знал, – сказал Тельпугов, – что эта повесть нигде не напечатана, а просто лежит в столе у автора или даже только задумана, я и тогда считал бы, что автором должны заниматься не мы, а те, кто профессионально борется с врагами нашего строя. И я сам буду ходатайствовать перед компетентными органами, чтобы автор понес заслуженное наказание».

После Тельпугова выступил некто Михаил Брагин, полковник. (Как я заметил, среди членов Союза писателей полковников и генералов сконцентрировано не меньше, чем в Генеральном штабе. Причем сами о себе они часто говорят: «я генерал» или «я полковник», но никогда не говорят «в отставке» и никогда не говорят, к какому роду войск принадлежат. Я думаю, что в основном к КГБ.)

Так вот, этот полковник выступил очень взволнованно и сказал, что таких ужасных, так оскорбляющих его любимую армию людей он еще не встречал, и спросил, действительно ли мне в его любимой армии приходилось видеть что-нибудь подобное мною описанному. Я сказал: «Да, видел кое-что и похлеще». Эти мои слова так оскорбили святые чувства полковника, что он вскочил, покраснел, стал сучить ногами и кричать: «Это ложь! Ложь! Наглая ложь!»

На что я, уважая седины и звание этого человека, сказал, что, если он припадочный, ему следует как можно чаще по-

сещать доктора и как можно реже участвовать в столь нервных мероприятиях вроде этого.

«Но ведь вы же говорите ложь!» – не успокаивался Брагин. «Я предупреждаю вас, – сказал я, – и предупреждаю всех, кто здесь есть. Если я еще раз услышу слово «ложь», я немедленно отсюда уйду».

Слово это, однако, было произнесено снова, и я ушел, сопровождаемый страстными призывами присутствовавших (как в греческом хоре): «Товарищ Войнович, вернитесь!»

ПРОТОКОЛ № 13

Распорядительного заседания Секретариата
Правления Московской писательской организации СП
РСФСР

13 июля 1970 года

Присутствовали – Секретари Правления – тт.
Карелин Л.В., Винниченко И.Ф., Ильин В.Н., Фоменко
Л.Н.

Приглашен на заседание Секретариата – член СП т.
Войнович В.Н.

От творческого объединения прозы и члены
Комиссии – тт. Болдырев С.Н., Тельпугов В.П., Брагин
М.Г.

СЛУШАЛИ:

1: О рукописи члена СП В.Н. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», опубликованной в зарубежном антисоветском журнале «Грани» за 1969 г. № 72.

(т. Ильин В.Н.)

В обсуждении приняли участие – гг. Болдырев С.Н., Тельпугов В.П., Карелин Л.В., Винниченко И.Ф., Брагин М.Г., Фоменко Л.Н., Ильин В.Н., Войнович В.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заслушав сообщение членов Комиссии, образованной решением Секретариата Правления для выяснения обстоятельств, при которых рукопись В. Войновича оказалась достоянием зарубежного антисоветского журнала «Грани», а также намереваясь выяснить в ходе обсуждения этого вопроса отношение самого автора к факту опубликования в этом журнале его рукописи, Секретариат Правления считает необходимым отметить:

1) Рукопись члена СП т. Войновича по своему содержанию и направленности носит явно клеветнический и откровенно враждебно-антинародный характер, и именно в силу этого она и была широко использована журналом «Грани» в его

идеологической борьбе, которую он ведет против Советского Союза.

2) Член СП т. Войнович фактом написания подобного пасквиля, носящего явно антинародный характер, и не желая признать идейно-порочную направленность, тем самым вступил в резкое противоречие с действующим Уставом Союза писателей СССР, определяющим роль и место советского писателя в борьбе за построение коммунизма и социальный прогресс.

3) Члены Секретариата и члены Комиссии в ходе обсуждения этого вопроса преследовали своей целью помочь осознать т. Войновичу не только политическую вредность его рукописи, но и рассчитывали, что т. Войнович сам даст оценку произведению, не отвечающему духу и целям, стоящим перед нашей страной.

Секретариат и члены Комиссии полагали, что в результате проведенного обсуждения чл. СП т. Войнович придет к решению выступить на страницах советской печати с резкой отповедью в адрес враждебного нам органа, публикующего без согласия автора его рукопись, попавшую в руки агентуры, скрытно действующей в нашей стране.

К сожалению, Секретариат и члены Комиссии должны констатировать, что т. Войнович не только не пожелал воспользоваться предоставленной ему возможностью внести ясность в занимаемую им общественно-политическую и литературную позицию,

но, искусственно создав ситуацию инцидента, воспользовался этим, чтобы покинуть заседание и тем самым уйти от дальнейших объяснений.

4) Секретариат Правления не может пройти мимо таких фактов, как неоднократное подписание т. Войновичем коллективных писем в защиту осужденных за антисоветскую деятельность Синявского и Даниэля и затем – Гинзбурга, Галанскова и др. Если раньше, предполагая, что подписание подобных коллективных писем в защиту лиц, осужденных Советским Судом (оба слова с большой буквы. Так же, впрочем, как Секретариат, Правление и Комиссия. – *В.В.*) за антисоветскую деятельность, являлось следствием политической незрелости т. Войновича, ввиду чего Секретариат ограничился вынесением т. Войновичу выговора с занесением в личное дело, то сегодняшнее его поведение свидетельствует о том, что т. Войновича ничто не связывает с Союзом писателей и достоинство советского писателя для него утратило надлежащее значение.

5) Секретариат Правления Московской писательской организации считает, что т. Войнович поставил себя своими действиями и своим «творчеством» вне рядов Союза писателей, и только отсутствие кворума не дает возможности решить этот вопрос в настоящее время.

Секретариат считает необходимым поставить вопрос о невозможности пребывания т. Войновича В.Н. в рядах членов Союза писателей на первом же

расширенном заседании Секретариата Правления Московской писательской организации.

СЛУШАЛИ:

2: Письмо детской писательницы т. Воскресенской-Рыбкиной З.И. с просьбой помочь выехать ей в Польскую Народную Республику с творческими целями (для сбора материала к книге о жизни и деятельности Н.К. Крупской, над которой она работает по договору с издательством «Детская литература»). Выпуск этой книги предполагается к 50-летию пионерской организации имени В.И. Ленина.

(Л. Карелин)

ПОСТАНОВИЛИ:

Ходатайствовать перед Секретариатом Правления Союза писателей СССР о предоставлении т. Воскресенской-Рыбкиной Зое Ивановне поездки с творческими целями в Польскую Народную Республику для сбора материала в партийных и государственных архивах ПНР документов, относящихся к пребыванию Н.К. Крупской в г. Гроеце и др. местах Польши. Просить Секретариат СП СССР предоставить возможность выехать т. Воскресенской З.И. по линии иностранной Комиссии СП СССР по плану поездок 1970 г.

СЛУШАЛИ:

Письмо-заявление члена СП т. Насибова А.А. о предоставлении ему поездки (вместе с женой Брусиловской И.С., старшим редактором изд-ства «Детская литература») в Венгерскую Народную Республику сроком на один месяц с творческими целями (сбор материала к новому роману, где действия развертываются не только в нашей стране, но и, в частности, в Венгрии).

(Л. Карелин)

ПОСТАНОВИЛИ:

Просить Секретариат Союза писателей СССР предоставить возможность тов. Насибову Александру Ашотовичу творческой командировки в Венгерскую Народную Республику (по плану поездок Иностранной Комиссии на 1970 г.). Срок поездки – один месяц. Поездка жены т. Насибова – Брусиловской И.С. – за счет личных средств.

СЛУШАЛИ:

Заявление Секретаря Правления Московской писательской организации СП РСФСР тов. Якименко Л.Г. об улучшении его жилищно-бытовых условий.

(Л. Карелин)

ПОСТАНОВИЛИ:

Учитывая активную творческую и общественную деятельность т. Якименко Л.Г., являющегося первоочередником на получение жилищной площади, а также принимая во внимание тот факт, что т. Якименко является инвалидом Отечественной войны, имеющим боевые награды, – просить Секретариат Правления Союза писателей СССР предоставить тов. Якименко Льву Григорьевичу однокомнатную квартиру для совершения обмена.

(Л. Карелин)

Верно: секретарь Романова

Меня в этот раз не исключили не из-за отсутствия кворума, а потому, что они еще хотели со мной поработать и добиться от меня того, чего хотели. И работали. Меня вызывали в секретариат СП Ильин, Карелин, Наровчатов, потом в дело вступили работники ЦК Юрий Кузьменко и за кулисами Альберт Беляев. Одни мне угрожали, другие уговаривали, третьи льстили, но все клонили к тому, что я должен написать журналу «Грани» протест против публикации «Чонкина» без моего разрешения. На меня давили и с другой стороны. Жена, близкие друзья уговаривали меня не жертвовать благополучием семьи, помнить, с кем я имею дело, «кинуть им кость». Главный режиссер театра Маяковского Ан-

дрей Александрович Гончаров говорил: «Подумайте, с кем вы боретесь. Их же 18 миллионов человек. Это же армия во время полной мобилизации. Ну покривите немножко душой. Помните, как говорил пушкинский Савельич Петруше Гриневу: «Барин, поцелуй злодею ручку».

В конце концов осенью 1970 года я написал протест, которым некоторые люди попрекали меня много лет. Что и говорить, писать подобные протесты под давлением властей – дело довольно унижительное, но будь я в то время свободным человеком, мой протест был бы гораздо резче. Эта публикация выбила меня из колеи и помешала закончить работу над романом (он не закончен до сих пор). Текст «протеста» утверждался и редактировался в секретариате Союза писателей и в ЦК КПСС и был опубликован с добавками, истинным автором которых являлся генерал Ильин.

В декабре 1970 года состоялось второе заседание секретариата, на котором мне был объявлен еще один строгий выговор с «последним» предупреждением. После чего в моем положении ничто не изменилось.

Руководители Союза писателей считали, что одного протеста «Граням» недостаточно, и призывали меня найти «удобную форму», чтобы осудить свое недостойное поведение и свою идейно-порочную повесть. Поскольку ни одна из возможных форм мне не казалась удобной, меня не печатали и лишали куска хлеба еще два года (до конца 1972 г.), после чего власти, полагая, что я уже прочно стою на коленях, ре-

шили меня простить и даже издали одновременно две мои книги. И это была их большая идеологическая ошибка, потому что за прошедшее время я как раз с колен поднялся, властям ничего не простил и собирался предпринять новые действия, совершенно «несовместимые с высоким званием советского писателя».

На жизненной сцене, однако, события не всегда развиваются по плану, намеченному автором. Только я стал развиваться для нанесения давно задуманного удара, как под руку мне подвернулся полковник КГБ Иванько. Ничего не зная о моих враждебных намерениях, он всего-то хотел отнять у меня квартиру, чтобы поставить в ней свой заморский унитаз. И начался третий акт драмы или, может быть, интермедии, которую я подробно описал в своей книге «Иванькиада».

Мне никак не хотелось связываться с Иванько, я предпочел бы даже и до сих пор не знать, кто он такой. Но он продолжал упорствовать в порочном своем заблуждении, и мне пришлось весь запас накопленной ярости обрушить на него. Выставив против меня превосходящие силы, Иванько утверждал, что, выступая против него, я тем самым выступаю против советской власти. Должен сказать, что он был совершенно прав. Иванько – это и была советская власть. Тем не менее он на данном этапе потерпел сокрушительное поражение и, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, позорно бежал в Соединенные Штаты. (Впрочем, потом вернулся,

сразу после того, как агент ГРУ Владимир Резун – он же писатель Виктор Суворов – разоблачил Иванько как резидента советской разведки в США.)

А я уже не останавливался. В том же семьдесят третьем году я, на этот раз сам, передал тем же «Граням» свою повесть «Путем взаимной переписки». Потом подписал письмо (вместе с Сахаровым, Максимовым, Галичем) в защиту Солженицына. Потом передал на Запад продолжение «Чонкина». Потом стал следить за действиями советской власти, ища, к чему бы еще придраться. И придрался к созданию Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП). Когда мое сатирическое письмо Панкину было передано западными радиостанциями, моей жене позвонил генерал Ильин и осторожно поинтересовался, не повредился ли я в уме. Но вот само письмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВААП

т. Б. Д. Панкину в ответ на его интервью,
опубликованное «Литературной газетой»
26 сентября 1973 года

Уважаемый Борис Дмитриевич!

Правду сказать, до появления в газете Вашего интервью я волновался, не понимая, в чем дело. Вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав.

Для чего?

Авторские права внутри нашей страны порою своеобразно, но все-таки охранялись и раньше.

А за рубежом...

Именно это меня всегда волновало. Кто, думал я, больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом? Вероятнее всего, те, кто больше других там издается. Например, А. Солженицын, В. Максимов, академик А. Сахаров и прочие так называемые диссиденты, извините за модное слово. Было бы естественно предположить, что именно они и вошли в совет учредителей. Но, узнав, что председателем совета избран товарищ Стукалин,³ я сразу отмел это предположение. Нет, сказал я себе самому, товарищ Стукалин такой совет никогда не согласится возглавить.

Ваше интервью кое-что прояснило, а кое-что еще больше запутало. С одной стороны, конечно, приятно, что в совет учредителей от писательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности, как Г. Марков, Ю. Верченко, С. Сартаков и т. д. С другой стороны, непонятно: почему именно они больше других заботятся об охране авторских прав? Ведь на их авторские права за пределами нашего отечества, думается, никто особенно не посягает.

Мне приходили в голову самые нелепые мысли. Я даже подумал, что, может быть, пока я не следил за

³ Борис Стукалин. В описываемое время председатель Государственного комитета по делам печати, издательств и книжной торговли.

творчеством этих писателей, они создали небывалые по силе шедевры, над которыми нависла угроза попасть в Самиздат, в «Посев» или, например, к Галлимару. А может быть, они бросились на защиту чужих авторских прав из чистого альтруизма?

Я попытался уяснить себе цели агентства, которое указанные товарищи учредили, а Вы возглавили.

В своем интервью Вы говорите, что деятельность Вашего агентства будет направлена на «усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа». Слово «подлинными» подчеркнуто не было, но я его все же заметил. Я подумал, что определять подлинность достижений в сферах человеческого духа – дело довольно сложное. Иногда на это уходили годы, а то и столетия. Надо надеяться, что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно.

Кем же? Вашим агентством?

Хотелось бы знать, по каким признакам. Можно ли считать подлинными достижения А. Солженицына? Или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко?

В тексте своего интервью Вы справедливо замечаете, что автору того или иного произведения заниматься охраной собственных прав «хлопотно и неэкономично». В подтексте Вы намекаете, что автору станет и вовсе хлопотно, если он, издаваясь за границей, не возьмет в посредники Ваше агентство. В таком случае автор, видимо, считается нарушителем

государственной монополии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников.

Это богатая идея. Она таит в себе ряд любопытных возможностей. Например, такую. Передав свое достижение за границу, автор сам становится объектом охраны. Охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной. В связи с этим, мне кажется, было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайство о передаче в ведение Вашего агентства Лефортовской или Бутырской тюрьмы со штатом охранников и овчарок. Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правопреемников. А поскольку Ваше агентство обещает гражданам государств – участников Всемирной конвенции те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них.

Меня, однако, смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству, и только ему, то не грозит ли Вашему агентству риск самому быть подвергнутым уголовному преследованию? Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать.⁴

⁴ Как я потом узнал, этот абзац моего письма учредителей агентства как-то смутил. Считаясь формально общественной организацией, они де-юре не имели

И еще одно предложение.

Поскольку Ваше агентство намерено само определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение или не издавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна, очевидно, отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВААП, а ВАПАП – Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав.

Всего одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл!

Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем Ваше агентство должно произведения советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание.

Желая внести личный вклад в это интересное начинание, прошу автором данного письма (и, естественно, носителем авторских прав) считать агентство ВАПАП.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Владимир Войнович

5 октября 1973 г.

А вот вам и персональное дело. Третье, и последнее.

СТЕНОГРАММА

ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЗЫ

МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 января 1974 года

Председательствует Г.Г. Радов

Г.Г. РАДОВ: Открываем заседание бюро. Поскольку Б.М. Зубавин болен, я беру сегодня на себя обязанность быть председателем.

Сегодня у нас стоит вопрос о поведении члена Союза писателей В.Н. Войновича. Поступок его известен членам бюро. Речь идет об опубликовании материала в антисоветском издательстве «Посев» в номере 11 за прошлый год. Члены бюро с этим материалом знакомы, поэтому надобности в чтении нет.

Не вдаваясь в оценку этого документа, хочу сообщить, что вопрос о поведении В.Н. Войновича разбирался на секретариате Московской писательской организации в 1968 году. Речь шла о подписании Войновичем коллективного письма в защиту антисоветчиков, за что он получил выговор. 20

декабря 1970 года решением секретариата он был предупрежден, что заслуживает исключения из Союза. Речь шла о публикации за границей клеветнического, как утверждалось в решении секретариата, антисоветского произведения. Войнович был предупрежден, что заслуживает исключения из Союза, но ввиду того, что он опубликовал протест против напечатания его незавершенного произведения «Жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина», он получил только строгий выговор с занесением в личное дело. Секретариат надеялся, что Войнович сделает для себя соответствующий вывод. И вот перед нами третий факт – публикация в «Посеве» в ноябре 1973 года.

Поскольку товарищи знакомы с материалом, я думаю, мы попросим сейчас Войновича разъяснить свое отношение к этому вопросу.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: То, что это было напечатано в «Посеве», я не знал. Я узнал это только от т. Стрехнина. Но вообще это письмо открытое, я его не скрывал, и его могли послать куда угодно. Сейчас вы будете обсуждать это письмо. Я уже говорил Юрию Федоровичу, что я считаю это письмо сатирическим произведением, оно похоже даже на гротеск, но гротеска в нем нет, потому что в нем содержится все то, что содержалось в интервью Панкина. Я представил это только в деталях. Я написал это письмо потому, что Панкин заявил, что отныне правами писателей будет весть агентство ВААП – оно будет определять, какие произведения

подлежат печатанию, какие не подлежат, какие можно печатать, какие нельзя. У меня в письме говорится насчет Бутырской и Лефортовской тюрьмы. Панкин это имел в виду: он писал, что автора, который не обратится в ВААП, ждет тюрьма. Он не написал адреса – эти адреса уточнил я.

Я считаю, что права писателей и так у нас урезаны и отнимать у писателя последнее право распоряжаться своей рукописью по своему усмотрению нельзя. Я считаю, что основание этого агентства на таких условиях возмутительно, и выразил свое к этому отношение.

Г.Г. РАДОВ: Есть вопросы?

Г. БРОВМАН: Все-таки интересно: каким образом это письмо могло попасть на страницы контрреволюционного, фашистского издания?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я послал это письмо Панкину в «Комсомольскую правду». Он мог его напечатать там.

Г.Г. РАДОВ: Что вы имеете в виду под открытым письмом?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я имел в виду, что это не секретное письмо. Я его послал Панкину и давал читать всем, кто меня об этом просил.

Г.Г. РАДОВ: Я же не могу просить у вас то, чего я не знаю.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Вы приходите ко мне в гости, я говорю – я написал письмо Панкину. Вы берете, читаете и, если хотите, – переписываете.

Г.Г. РАДОВ: Вас не огорчал факт публикации этого

письма в «Посеве»?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Нет, потому что это письмо открытое.

Г.Г. РАДОВ: Обычно, если человек пишет открытые письма, он их посылает в нашу печать.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я и послал Панкину в «Комсомольскую правду».

Г.Г. РАДОВ: Значит, официально вы в органы советской печати не обращались. А то, что оно опубликовано на Западе, вы считаете случайным?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Нет, не считаю. Но в принципе оно должно было быть здесь напечатано.

Г.Г. РАДОВ: Как же оно могло быть напечатано, если вы никому не посылали?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Вы же знаете, что оно не могло быть напечатано потому, что вы считаете, что это письмо плохое.

Г.Г. РАДОВ: Вы же не давали ему оценку, что это плохое письмо.

Г. БРОВМАН: Войнович не молодой писатель, он прекрасно отдает себе отчет, что «Посев» издание контрреволюционное, фашистское, черное издание на современном издательском горизонте за рубежом. Это не буржуазная газета, не социал-демократическая правая, а это контрреволюционное издание, призванное вести антисоветскую деятельность. Почему же он считает естественным опубликование этого письма там?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: То, что я пишу, я не считаю антисоветским, а если я не считаю это антисоветским,

то значит, они тоже не сделали ничего антисоветского. Я хотя там печатался, но в отличие от вас я не знаю этого издательства, я не выписываю книги, которые оно издает. Я знаю только из каких-то источников, которые для меня не являются достоверными. Они могут печатать все, что им попадает в руки, – это уже забота не моя, чтобы им не попадало.

Но им попадает в руки очень многое, и за это я ответственность на себя не беру, а руководство Союза писателей совместно с другими организациями создали такую обстановку, что многие наши вещи не могут быть здесь опубликованы и, таким образом, они попадают туда.

Я могу вам предложить разорить издательство «Посев» моментально: все, что попадает туда, печатать здесь.

Г.Г. РАДОВ: Но это, к вашему сожалению, не произойдет.

У меня еще два вопроса. Вы пишете, что хотели видеть в числе учредителей этого агентства прежде всего тех, кто больше других там издается. Вероятнее всего, Солженицына, Максимова и Сахарова.

Вы убеждены, что больше всего издаются на Западе из всей огромной литературы именно эти три человека? Вы не знаете о миллионных тиражах за границей Шолохова, Леонова, Федина, Симонова и других? Вы убеждены, что Солженицын издается там больше, чем упомянутые мною писатели?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я убежден, что Солженицын

издается там больше, чем все названные вами писатели.

Г.Г. РАДОВ: Второй вопрос. Вы иронизируете по поводу того, что членами-учредителями этого Общества являются гг. Марков, Верченко и Сартаков. Вы читали интервью Панкина о том, что агентство создает целый ряд творческих организаций, в том числе и Союз писателей. В данном случае Верченко, Сартаков и Марков вошли в состав учредителей от нашего Союза, представляющего всю советскую литературу. Вы же это знали! Три официальных секретаря Правления, представляющие творческий союз целиком. Мы их избрали на съезде писателей демократическим путем. Они осуществляют защиту наших интересов и выступают как юридические члены нашей Всесоюзной организации. Вы же это знали?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Знал, но не все они являются писателями, тем более крупными.

Г.Г. РАДОВ: Мы не говорили о крупности и авторитетности. Там написано, что они представляют Союз писателей, Верченко – не член Союза писателей, а работник Союза писателей, избранный нами. Со дня организации Союза писателей в течение всего времени им руководили не только писатели, но и общественные работники – Щербаков, Поликарпов, Воронков и целый ряд других. Они являются привлеченными работниками, мы платим им деньги и т. д.

Я хотел выяснить вашу точку зрения на эти два вопроса, но она осталась неясной.

т. ПАДЕРИН: Владимир Николаевич!

Ознакомившись с письмом, я почувствовал, что у вас есть определенное уважение к Солженицыну. Что вы о нем прочитали и читали ли его последний роман «Архипелаг ГУЛАГ»?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: На этот вопрос я отвечать не буду.

Г.Г. РАДОВ: Вы пока что член Союза писателей, пришли на заседание Бюро, и забывать это не следует.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я пришел не вступать в Союз писателей, а уходить из него!

Г.Г. РАДОВ: По-моему, отношение Владимира Николаевича к вопросу осталось нам неясным. Есть ли еще вопросы к нему? Прежде чем приступить к обсуждению, я все-таки хотел бы задать последний вопрос.

Своим поведением вы ставите нас в очень легкое положение по отношению к вам и очень трудное для себя.

Я хочу спросить хотя бы по праву возраста – достаточно ли серьезно осознаете вы обстановку, в которую попали, и достаточно ли серьезно взвешиваете то, что говорите и как себя ведете перед большой группой писателей? По-видимому, они проявляют к вам интерес, раз пришли сюда.

Достаточно ли серьезно вы к этому относитесь или это дань браваде? Объясните! Я даю возможность сказать по-серьезному.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Мне трудно это объяснять. Дело в том, что, когда я писал это письмо, я вполне представлял, что за этим последует. Я знал, что могу

быть исключенным из Союза писателей. Я делал еще кое-что, за что я мог бы быть исключен из Союза. Это не значит, что я сделал плохо. Я считаю, что положение в нашей литературе очень тяжелое (Г.Г. РАДОВ: Мы не обсуждаем этот вопрос. Дискуссии по поводу положения в литературе мы не ведем).

Хорошо. Я думал, как мне себя вести...

Г.Г. РАДОВ: Положение в литературе такое, что человеком, который дважды нанес моральный ущерб государству, в последнее время были изданы две серьезные книги, и было проявлено беспокойство Союза писателей в том направлении, чтобы они были изданы. Так что о положении в литературе можно судить и по этому факту – забота Союза писателей и общества о каждом отдельном литераторе, несмотря на то что выступления этого литератора и в первом и во втором случае нанесли моральный ущерб. Ведь любое выступление за границей наносит нам моральный ущерб. У вас вышли в последнее время две книги: одна новая и вторая – переиздание. Не было массовых просьб читателей о переиздании – вам шли навстречу.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Во-первых, у меня есть читатели, и их немало, которые ждут моих книжек. Мои книжки на полках не валяются. Поэтому мои книжки надо издавать. Если не будут издавать, то будет неправильно – есть читательский спрос, и, независимо от моего поведения, они должны издаваться. Я ведь ничего плохого, нечестного не сделал. За что я получил первый выговор? Я подписал письмо в защиту Синявского и

Даниэля. Я не руководствовался никакими корыстными соображениями. Мне никогда не нравилось и не понравится, что писателя судят за то, что он написал. Но я думал о том, какой вред это наносит нашему государству. И, когда выступал судья Смирнов на этом процессе, я подал записку, ища выхода из положения, который удовлетворил бы все стороны: нельзя ли Синявского и Даниэля взять на поруки? Мне казалось, что это хороший выход из положения. Другие люди, не считавшие их преступниками, ругали меня и говорили, что «таким образом ты вроде признаешь, что они преступники». Я тоже не считал, что они преступники. Но я считаю, что с этого началась длинная цепь неприятностей для нашего государства.

Как вы заявляете, вы руководствуетесь интересами государства. Я тоже руководствуюсь интересами этого государства.

Была сделана ошибка. И я думаю, что ошибку эту поняли, потому что Синявский освобожден раньше срока и гуляет в Париже. А меня наказывали уже после того, как он не сидел, – он уже гуляет по Парижу, а я расплачивался за это письмо.

Вы говорили, что Союз писателей сделал одолжение мне, напечатав мои книги... (Г.Г. РАДОВ: Нет, проявил элементарную заботу.)

Я написал письмо с протестом против публикации в журнале «Грани». Журнал «Грани» (а не «Посев») напечатал часть моего романа без моего разрешения – я такого разрешения не давал[В марте 1969 года

журнал «Грани» напечатал первую часть «Чонкина» действительно без моего разрешения. После чего все мои книги в очередной раз были запрещены и было затеяно второе персональное дело. На меня оказывалось сильное давление, чтобы я осудил сам себя и журнал «Грани». Давление было с двух сторон: со стороны начальства (об этом есть ниже) и со стороны близких друзей, которые умоляли меня уступить им, чтоб отвязались. В конце концов я написал (выдавил сквозь зубы) протест «Граням» в относительно мягкой форме, а В. Ильин без моего разрешения усилил его словами вроде «грязная провокация» и что-то в этом духе.

Несмотря на это, начальство считало мой протест недостаточно полным («Чонкина» и себя я не осудил). Тем не менее меня из Союза не исключили, «ограничившись» строгим выговором с последним предупреждением. Но реальное мое положение несколько не улучшилось. Меня по-прежнему не печатали и следили за тем, чтобы я не мог зарабатывать деньги на жизнь.

Секретарь МГК Алла Шапошникова говорила: «Мы знаем, что он зарабатывает деньги под чужими фамилиями, но мы и до этого доберемся»...].

При этом я считал, что виноват в этом не только журнал «Грани», а опять-таки та обстановка, которая сложилась у нас.

Потом здесь, в Союзе писателей, у нас велись длинные разговоры. Я не хотел писать письмо,

мне тяжело было писать это письмо по моральным соображениям, потому что хотели, чтобы я сказал только об одной стороне дела, а я хотел сказать о двух сторонах. Но мне сказали – так нужно, ты нам помоги.

Я сказал – вы просите, чтобы я помог, а почему все мои пьесы, которые шли по всей стране, сняты, книги мои закрыты. Мне ответили – вы сделайте сейчас, а потом мы сделаем.

У меня тогда было двое детей, сейчас трое, я должен был их кормить, и это соображение для меня было тоже существенным. И я пошел на это и написал то, что хотели. После этого я пошел в Союз писателей, обращался к некоторым писателям и видел, что все довольны. Но после этого два года мою фамилию вычеркивали из всех списков. Например, если Свердловская студия просила у меня сценарий, я посылал заявку, а потом узнавал, что приехал референт из Москвы и эту заявку прикрыл. Вы хорошо знаете, что так бывает. Мои пьесы были по-прежнему запрещены, мне не давали ходу нигде, два года я просто нищенствовал, нечем было кормить детей.

Я уже не говорю о литературной деятельности руководства Союза писателей, с которой я не согласен, но и политически это глупо: сначала руководство предлагает – давайте сотрудничать на какой-то разумной основе, а потом я увидел только сведение счетов, месть и т. д.

Г.Г. РАДОВ: Я попросил Войновича взвесить серьезность ситуации, и вот мы получили такой ответ.

Есть еще вопросы? (Нет.) Я хочу прочесть один параграф Устава: (Читает.) Когда обсуждалось его произведение, напечатанное за границей, имелся в виду именно этот пункт. Письмо в «Литературную газету» его действительно просили написать, потому что писатель, состоящий в Союзе, обязан выразить свое отношение к тому, что его произведение напечатано на Западе во враждебном нам органе. И просьба эта была к нему для того, чтобы не применять этот пункт полностью. Раз он сделал такое заявление печатно, к нему отнеслись снисходительно.

Кто желает взять слово?

В. КРАСИЛЬЩИКОВ: В течение последних нескольких лет по своей работе я регулярно читаю все антисоветские, контрреволюционные издания со дня их изначального выхода, с момента Октябрьской революции. Я работал в ИМЭЛ и хорошо знаком с литературой этого рода – от «Социалистического вестника», основанного Мартовым в Берлине, до монархических махровых, реакционных газет, выходивших в Париже и Брюсселе и бережно хранимых сейчас, как своего рода документы эпохи, в Институте марксизма-ленинизма. Журналы это разные, часто между ними возникает полемика, они пикируются, препираются, уличают друг друга, анализируют события Октябрьской революции со своих точек зрения.

Иногда, когда появляется, допустим, новый претендент на русский престол, как это случилось в

1922 г., когда появилась лже-Анастасия, бурные дебаты разворачиваются вокруг этой проблемы и страшная драка раздирает всю эмигрантскую прессу.

Но одно их объединяет. Их объединяет страстная ненависть к Советскому Союзу, к нашей партии, к любым успехам нашего социалистического строительства и махровый антисемитизм. На этой почве все они сходятся и все находят общий язык.

Еще один момент, который роднил их тогда. Это предсказание близкой гибели советской власти.

Тогда эти предсказания делались с помощью провидцев. Теперь эти журналы приняли несколько иное лицо, осовременились. Я не могу к ним отнести ту внешнюю характеристику, которую я дал в отношении их исторических прародителей, но их по-прежнему роднит звериная ненависть к нашему народу, вернее, к нашим людям, строящим социализм, к любым нашим успехам и беспрерывные предсказания гибели нашей социалистической системы. Только теперь эти предсказания делаются с помощью ЭВМ и по ходу дела отодвигаются с пятилетки на пятилетку. Среди этих «любезных» и «милых» изданий есть такое издание, как «Посев», которое мне приходилось, правда, нерегулярно, читать, потому что оно не входило в сферу моих интересов. И в этом издании появляется открытое письмо нашего товарища Владимира Николаевича Войновича. Письмо названо открытым. Очень странное обстоятельство выяснялось по ходу дела. Открытые письма обычно пишутся в какой-то орган. Я не знаю, как

в «Комсомольской правде» рассчитывали такое письмо напечатать, но для меня это не имеет значения. Это чепуха, и вообще не имеет значения, для кого оно было написано. Важно то, что оно было написано и было напечатано там, где его напечатали. Почему-то большое произведение Владимира Николаевича не было там оттиснуто, а оттиснули это маленькое письмо.

В этой связи меня удивила фраза: «там все попадает им в руки». Попадает в руки все, но не все печатается. В этом как раз корень вопроса.

С этой точки зрения мне очень не понравилось ваше поведение. Весной в таком же заседании творческого объединения мы обсуждали поведение В. Максимова. При всем моем неприятии этого творчества, я должен сказать, что он вел себя достойно. Он не говорил: я не знаю, чего он хотел, и т. д., а открыто сказал, что он ненавидит наш строй, ненавидит нас и будет бороться. Он честный, настоящий противник. Вы же юлите, изворачиваетесь...

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Здесь большая разница.

Г.Г. РАДОВ: Мы терпеливо вас слушали и не перебивали. Давайте условимся вести заседание спокойно. Тогда мы добьемся ясности.

Я не претендую на то, чтобы олицетворять строй. Это вы претендуете на то, чтобы выражать мнение советских писателей, какой-то их части. Я говорю за себя. Мы обсуждаем вас как нашего творческого товарища. Мне ваша личная позиция крайне несимпатична, потому что вы ведете себя как нашкодивший школьник –

вы изворачиваетесь, придумываете аргументы, которые самому вам не кажутся вескими и убедительными.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: Кажутся.)

Я говорю то, что мне кажется. Нигде, как на трибуне и в выступлении, человек не старается представить себя самим собой, и в то же время нигде, как на трибуне, человек не открывается так окончательно, так полностью. И это случилось с вами.

Если говорить о вашем письме по существу, а не по форме, то в вашем письме проглядывает неприязнь, непринятие нашего строя, ненависть ко всем завоеваниям нашей революции, которая пронизывает все творчество столь любимого и защищаемого вами Солженицына.

Я хотел еще сказать вот о чем. Вся эта история – весьма поучительный урок для нас. Мы часто не чужды обывательского брюзжания. И вот – начинается с обывательского брюзжания, а кончается тем, к чему пришел Владимир Войнович в произведении, опубликованном за рубежом, и в своем письме, в связи с которым мы обсуждаем его поведение.

Я считаю, что сейчас, когда так ожесточилась борьба двух миров, особенный урон наносят такие выступления, какое позволил себе Войнович. И, естественно, это не совместимо со званием советского писателя, и пребывание Войновича в нашем Союзе я считаю недопустимым.

А. ВОИНОВ: У меня возник вопрос. Мы прочитали это письмо – все ли мы остро и серьезно отнеслись

к нему? Я думаю, что каждый из нас, бывая за границей, знает, как выискивают наши идеологические противники всякие факты и фактики, которые могут нам нанести тяжелый урон. Должен оказать, что я недавно был в Берлине и видел передачу западногерманского телевидения. Я смотрел и думал о том, что они совершенно сознательно принижают ужасную роль фашизма, они идеализируют сейчас Гитлера. И в то же самое время – интересная деталь: после того как личный садовник Гитлера восхвалял своего шефа, тут же было пристроено интервью, которое корреспондент западногерманского радио брал у Синявского.

Я думаю, что Войнович, сочиняя это письмо, не мог не понимать, что оно наносит ущерб нашей стране. И я не верю Войновичу, что он не знает, каким образом это письмо оказалось напечатанным. Кто-то приходил к Войновичу в гости, кто-то переписывал это письмо, и оно таинственным способом оказалось напечатанным там.

Я вам скажу прямо, Войнович, вы писали это письмо специально для того, чтобы напечатать его там, потому что вы прекрасно понимали, что это клеветническое письмо не может быть напечатано здесь. Вынесли это письмо Панкину, заметая следы ...

(ВОЙНОВИЧ: Какие следы? Я же его подписал.)

Да, вы его подписали и передали какому-то иностранному корреспонденту, а потом копию понесли Панкину. И не надо прятаться.

Когда я слушаю вас, я думаю вот о чем: у нас действительно есть писатели трудной судьбы, у нас действительно есть писатели, которым трудно подчас пробиться в издательствах. Не так давно мы обсуждали творчество одной замечательной писательницы – Яновской, книги которой надо помочь издать. По вашей логике Яновская должна была взять свои книги и отдать печатать за границу. Это логика, простите меня, антисоветская.

Мы в своей среде сами должны исправлять все, что нам кажется нужным исправить.

Я считаю, что в данном случае речь идет просто о контрреволюционной контрабанде.

Контрабандистски это письмо было передано на Запад с желанием нанести ущерб и нашему Союзу, и нашему обществу.

Я считаю, что Войнович должен быть исключен из Союза писателей.

Л.Н. ФОМЕНКО: Несколько лет тому назад, когда мы обсуждали на Секретариате книгу Войновича, напечатанную в «Гранях», Войнович был все же другим, чем сегодня. Сегодня он просто нетерпим, сегодня он просто продолжает то, что у меня вчера сорвалось с языка, когда я прочитала это письмо. Я бы это рассматривала как политическое хулиганство. Он обижает, оскорбляет товарищей, идет ва-банк.

Вообще, как сказал один умный человек сегодня, пусть бы миллионеры заботились об авторском праве. Я, например, никогда не думаю об авторском праве.

Но здесь совершенно о другом речь. Тогда мы говорили очень серьезно о его творчестве, вспоминали с болью хорошие его дела и старались понять, что это такое. Просили, чтобы он доказал своим творчеством и поведением, каков же он на самом деле – тот ли, который пишет стихи о космонавтах, тот ли, который написал о Вере Фигнер, или тот, который написал «Солдата Чонкина». Пусть это начало большого романа, но тенденция этой вещи тогда была названа антинародной, а она такая и есть, не говоря о страшном натурализме, который не дает ее читать спокойно.

Вот это какое-то двойственное, очень непонятное человеческое крайне неприятно. Это обижает и оскорбляет.

Правильно сказал Войнович, что у нас много людей, которые трудно печатаются, и что много людей, которым трудно кормить своих детей.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: А почему?)

По разным причинам. Не потому, что они бездарны, – этот вопрос мы снимаем. Бывают разные причины, может быть, и неуважительные. Могут сидеть бюрократы. В нашем доме все может быть, как и в моей, так и вашей семье. У одного такой характер, у другого – другой, бывают столкновения, люди могут расходиться, на что-то идут, но никому не приходит в голову так столкнуть разные личности. Я говорю, что это хулиганство. Вы берете Верченко. Нам нет смысла его защищать – я его мало знаю. Но почему нужно

было здесь столкнуть это имя с именами уважаемых писателей Маркова и Сартакова? Верченко не писатель и не лезет в писательскую среду. Почему же нужно было столкнуть его имя с другими именами?

То, что написано, я рассматриваю как хулиганство, но должна сказать: то, что вы наговорили сейчас – сгоряча или не сгоряча, – просто нас оскорбляет. Говорю это честно. Здесь сидят люди, которые прошли большой жизненный путь. У вас тоже седины достаточно. Пора хулиганства и заигрывания должна уже пройти.

Я смотрела вашу книгу, прочитала ее. Думала – как хорошо написали такую книгу. Если писал, чтобы поправить свои дела, то ведь он жил в этом материале не меньше трех лет. Думаю, дело пошло на лад. И хлоп – он пишет это письмо – миллионер, которому ущемляют его права. Это письмо доконало, если бы и не ваше поведение сегодня. Если вы себя подготовили, это не дело – так Союзом писателей играть нельзя. Не знаю, кто вас уговорил написать письмо в «Литературную газету», кто вас умолил.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я никого не упрекаю!

Л.Н. ФОМЕНКО: Все секретари, которые были тогда на заседании, высказались, и каждый желал вам только добра, желали дать понять, что вы споткнулись на этой вещи.

И вы, как будто бы, пытались что-то подумать. А сегодня я вижу человека, который хочет, чтобы о нем пошла слава.

Я считаю, что чаша переполнена.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Может быть, я что-то по отношению к присутствующим неосторожно выскажу, – не хочу, чтобы кто-то воспринимал это на свой счет, тон моего разговора и т. д.

Я не оправдываюсь и не считаю, что я виляю. Я знаю, чем это кончится, – на этот счет у меня сомнений нет.

Г.Г. РАДОВ: Ваш опыт общения с Союзом должен вас научить, что к вам подходили с гуманностью и терпимостью.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Когда я писал письмо, я выступал не против строя, а против агентства ВААП. Я считаю, что агентство ВААП и советский строй не одно и то же. Мне мои права нужны. Если вам не нужны – отрекайтесь от них. Я не отрекаюсь от своего письма. Поэтому мне ясно, чем кончится дело. Я просто не хочу, чтобы себя считали оскорбленными.

С.С. ЛЕСНЕВСКИЙ: Я хочу, чтобы Володя (я называю его Володя потому, что давно знаю его, хорошо отношусь к нему, только недавно узнал об этом письме, и это меня очень огорчило) заметил, что мы все больше переживаем, чем он сам. Никто не пришел сюда с такой мыслью, с таким мнением, чтобы принимать определенное решение. Но надо сказать, что у нас нет времени, – не у нас буквально...

(Г.Г. БРОВМАН: Исторического времени нет.)

Я, конечно, не возвожу это событие в историческое событие, но какое-то движение истории мы обязаны чувствовать. Что касается данной ситуации, то,

вероятно, этот вопрос нельзя считать историческим. Думаю, что у Володи есть еще время подумать и что-то сказать, так как окончательное решение будет выносить еще секретариат. Подумать не о том, как себя вести, – это термин прагматический, а о том, что это означает.

Хочу сказать, что я думаю по существу.

Относительно самой проблемы печатания. Как я понимаю, это психологически связано с теми трудностями, которые Войнович по тем или иным причинам, зависящим от него или не от него, испытывал в своей писательской судьбе. Это дело понятное. Может быть, это какая-то легенда, но я слышал, что когда молодые поэты приходили к Мандельштаму и жаловались, что их не печатают, то он их спускал с лестницы и спрашивал: а Христос печатался? Он хотел сказать, что это не первое, о чем должен думать писатель. И, размышляя над этим, я пришел к выводу: я стал замечать – когда я думаю, печатают меня или нет? Это приходит в те моменты, когда я творчески менее состоятелен. Это какой-то симптом известной неполноценности писательской, когда поднимаются такие вопросы: как человек печатается, кого больше печатают, кого меньше, почему меня не печатают и т. д.

Если человек думает, почему мне не пишется, – вот это существенный писательский вопрос, а если мы начинаем думать, почему не печатают, то можно отойти от всякого творчества.

Теперь по поводу Агентства. Мне кажется, в этом

письме действительно есть элемент сатирического хулиганства. Но если рассматривать это всерьез, то создание Агентства является громадным шагом вперед в труднейшем деле общения нашей страны, социалистического мира со всем человечеством. Это наладить очень трудно, есть мир социалистический, капиталистический, есть третьи страны. При этом нам надо выжить, нам надо победить, и при этом нам надо общаться. Мы должны вести нашу борьбу новыми, более гибкими мерами.

Создание Агентства – это громадный шаг к общению с миром, последствия его трудно предсказать. Это глубоко прогрессивный шаг, и партия и правительство пошли на это очень дальновидно. Я не знаю, кого будут больше издавать, кого меньше, – какая чепуха. Важен сам факт, что создана организация, которая будет общаться со всем миром. Войнович упомянул Галлимара – это почтенное издательство, которое печатает и прогрессивных писателей, и даже коммунистов.

Теперь о Панкине. Панкин уже несколько лет член нашего Союза. Это необычайно светлый человек. Я учился с ним на одном курсе, знаю его со студенческих лет. Потом я его знал много лет как редактора «Комсомольской правды». Это одна из самых интересных наших газет, одна из самых смелых в хорошем смысле слова. И это обращение к Панкину – просто неуважение к замечательному, прекрасному человеку.

У нас работает В.Н. Ильин. Его должность адекватна в рамках нашей организации должности Ю.Н. Верченко. Я знаю, что этот человек высокой, рыцарской чести, он грудью бросается добывать людям больницу, деньги. В этом проходит его деятельность.

В суде есть такое понятие – презумпция невиновности, но это и моральная категория. Я верю в искренность Володи и верю, что он просто запутался, заобиделся, переобиделся. Можно обидеться на издателя, но нельзя переносить свою обиду на Родину, а так объективно получилось. Это выступление против наших организаций.

Г.Г. РАДОВ: Давайте уточним факты. Письмо написано в октябре 1973 г. У Войновича вышли сразу две книги. У меня за пять лет вышла одна книга. Так что нечего говорить, что он обиделся. Вы ищите другие доводы.

С.С. ЛЕСНЕВСКИЙ: Я лично хочу исходить из того, что человек искренен, но объективно это письмо против нашей жизни, против партии, а ни нашей жизни, ни нашей Родины нет без партии.

Мы знаем судьбы писателей. Знаем судьбу Ахматовой, которая не была членом партии и марксистом, но в 1946 г., когда к ней пришли иностранные корреспонденты после того, как ей было очень тяжело, она выгнала их. Она рассказала мне, как была в Италии и в какую там пришли ярость, что она не просит политического убежища.

Знаем трагическую судьбу другого писателя,

который всеми силами стремился пробиться к Родине, к пониманию. И сейчас, когда читаешь вышедшую книгу о мученической судьбе ряда людей, это ценишь.

(Г.Г. РАДОВ: О ком вы говорите?)

Я говорю о Манделштаме. Он попал в тяжелейшее испытание.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: Колючая проволока помешала ему пробиться!)

Я призываю Володю подумать о том, что, объективно говоря, его выступление – это выступление против партии, против народа, что вовлекается он в очень мутную, грязную волну людей, которые вообще готовы тебя за пятак продать. Я прошу тебя обо всем этом подумать.

Г.С. БЕРЕЗКО: Должен сказать, что, когда я прочитал ваше письмо, стало мне очень огорчительно, тяжело. Вы написали ужасное письмо. Мне даже не совсем понятно, как вы могли так написать. Вы назвали это письмо гротеском.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я сказал, что оно похоже на гротеск.

Г.С. БЕРЕЗКО: Это больше похоже на литературное хулиганство. С большим душевным огорчением мы относимся к этому письму.

В молодости я долго жил в коммунальной квартире и запомнил одного «шалуна», который забавлялся тем, что, когда на кухне никого не было, бросал мусор и окурки в чужой суп, а потом ходил по квартире с горделивым видом. Ваше письмо напомнило мне этого

«шалуна» из коммунальной квартиры. Это ужасное письмо! Вы приводите там сравнения с Бутырской тюрьмой, говорите об уголовной ответственности. В каком страшном духовном мраке вам это привиделось?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Этого нет в письме. Там намекается на уголовную ответственность. В интервью Панкина говорится, что автора ждут известные последствия...

Г.Г. БРОВМАН: Слова «уголовный» там нет.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: А какое?

Г.С. БЕРЕЗКО: Я вспоминаю, как мы на секретариате в свое время обсуждали ваш очень плохой роман «Жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина»...

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я тогда с вами не согласился.

Г.С. БЕРЕЗКО: Я прекрасно помню все, что мы говорили. И у меня лично создалось такое впечатление, благоприятное для вас впечатление, что вы хотя бы задумались над тем, что вы сотворили. А сотворили вы сатиру, но сатиру на народ. Такой сатиры я не понимаю.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: А Салтыков-Щедрин?

Г.Г. РАДОВ: Он не на народ писал.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: А город Глухов?

Г.Г. РАДОВ: Это о самодержавии, чиновниках.

Г.С. БЕРЕЗКО: Во-первых, не на народ писал, во-вторых, Войнович, помните, что времена были другие.

Я согласен с Лесневским, что создание агентства ВААП – это прогрессивная мера, принятая и в интересах писателей, и в интересах советской власти. И

как это можно было не понять – это поразительно!

Здесь все правильно говорилось. Зачем этот ернический, издевательский тон по отношению к людям, писателям, честно работающим, интересно работающим? Вам могут не нравиться книги, но вы имеете возможность выступить со своей точкой зрения.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Где?

Г.С. БЕРЕЗКО: Хотя бы на перевыборном собрании секции прозы.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Вы так же соберетесь и исключите меня из Союза, если я выступлю.

Г.С. БЕРЕЗКО: Что вы говорите?

Я начал говорить о чтении вашего романа, плохого, дурного романа, и у меня создалось такое впечатление, что вы о чем-то задумались. Оказывается – нет. Оказывается, все это прошло мимо, не задело вас ничем, не изменило вашего отношения, вашей большой обиды на Союз, на всех нас.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: Она стала еще больше.)

И вы пришли к нам после этого ужасающе, необычайно воинственно настроенным. Вы напомнили мне того шалуна в коммунальной квартире, который сыпал пепел в чужие супы и был глубоко удовлетворен. Так и вы. Я вспомнил этого шалуна не случайно, я вспомнил его, послушав вас. И это очень грустно, и оскорбительно то, что вы себя считаете единственным болельщиком за советскую литературу.

Уверяю вас, советская литература не нуждается в вашем сочувствии, обойдется. Вы не обойдетесь

без советской литературы, не обойдетесь без нас, без Родины. А Советский Союз как-нибудь обойдется.

Ю. КОРОЛЬКОВ: Сначала о расстановке сил.

Я немного больше знаю, в частности об НТС, чем знает Войнович. Дело в том, что с организацией НТС мне приходилось сталкиваться 20 лет назад, еще будучи в Германии, и даже еще раньше – во время войны.

Я являюсь членом Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, получаю газету «За Родину», которая очень много говорит об НТС и рассказывает, что из себя представляют эти люди. Я не буду повторяться, но это наши враги, и враги без кавычек. Это предатели и не только власовцы, но и старая эмиграция. После войны это шпики, гестаповцы, полицаи. Мне доводилось бывать в лагерях перемещенных лиц. Матерые полицаи являются заправилами в НТС.

Мне пришлось работать над книгой о Мусе Джалиле, и я нашел документ о том, кто предал подпольную молодежную организацию. Он сам пишет – по заданию НТС и германской разведки – абвера, я вошел в организацию, раскрыл и т. д.

Это провокаторы, шпики, полицаи, палачи – с кем вы начинаете солидаризироваться?

Вы поймите меня правильно, я не хочу вам зла. Задумайтесь только над тем, с кем и как вы солидаризируетесь.

Когда я прочел ваше письмо, я сразу подумал: а зачем оно написано?

Вот подписали конвенцию, ограничение в выступлениях. Ведь мы не все можем напечатать, антисоветчину мы не будем поддерживать. Раз и навсегда запомните – идет борьба двух лагерей.

Не идет ли это от желания написать и попытаться как-то помочь Солженицыну, чтобы он свободно выступал?

Если с этой точки зрения подойти к вашему выступлению, я бы очень хотел, чтобы вы подумали и, может быть, что-то решили. Я хочу считать, что вы честный человек, а в вашем письме и вашем выступлении сегодня есть элемент провокации – вызвать скандалчик и вокруг этого дела пошуметь. Так нельзя.

Г. БРОВМАН: Я хочу поддержать высказанную мысль о нашем «доме». Многим присутствующим здесь и тем, кто сейчас говорит, было трудно. Были обстоятельства сложные, были обстоятельства критические, приводившие к тому, что детей нечем было кормить. Но никому из советских людей, оказавшихся в таком положении – позвольте мне это вам заявить, – кроме отдельных отщепенцев, не пришлось в голову искать защиту в той среде, которую обрисовал Ю. Корольков.

Есть неправильные действия, есть бюрократ-издатель, есть плохой рецензент, недоброжелательный, бездарный и ограниченный человек, – надо искать на них управу в нашем «доме», в партийной организации. Можно обратиться в органы народного контроля, в

Секретариат Союза, в Районный комитет и даже Центральный комитет партии – это не возбраняется никому. Но писать надо, желая остаться в собственном доме и разобраться в делах собственными усилиями с помощью товарищей. Писать надо так, чтобы можно было напечатать в советской газете.

Два слова о нашем председателе. Г. Радов отнес в «Литературную газету» статью, которая вызвала большое движение умов, по поводу безответственности, которая задела министров и даже членов правительства. Он сделал большое дело. Но каким был бы Радов, если бы он понес эту статью, предварительно размножив ее и показав «товарищам» в кавычках. А почему они товарищи Владимиру Николаевичу? Потому что он печатается у них. Там, где печатают автора, его считают товарищем. Если он печатается в НТС, его воспринимают как коллегу.

Можно и нужно критиковать наши недостатки. Я не хотел бы, чтобы наше обсуждение поведения Владимира Николаевича было воспринято так, что мы, писатели, чуждаемся критики. Но здесь не критика, а идейная борьба, особенно острая в наши дни. На фоне шумихи с «Архипелагом ГУЛАГ» все это выглядит ужасно. Именно на фоне этой шумихи вы выглядите как жалкий подпевала, убогий человек, простите меня за эти слова! Вы не идете вровень с крупными, большими антисоветчиками, сидящими в тылу, а действуете из подворотни, как тот человек на коммунальной кухне.

Вы презираете нас – мы разные литераторы.

Вы пишете, что Маркова не будут печатать и издавать. Если Маркова не будут печатать НТС и «Грани», это правильно. У нас большая литература. Вы недооцениваете наши таланты. И вдруг вы высказываете как Моська...

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: Вас недооцениваю!)

Я критиковал вас, но критиковал вас с расположением, с уважением. Я ценил вас за ваши правдивые повести – повесть о колхозе, повесть о жилищно-строительном кооперативе. Там был материал для критики. Вы были правы, критикуя многие явления современной жизни на страницах наших журналов и газет. Это была товарищеская литературная работа, формирующая советское искусство. А сегодня – другое дело. Вы стали нашим врагом.

Я считаю прозвучавшее здесь предложение об исключении В.Н. Войновича из членов Союза абсолютно правильным. Для меня, для литератора уже не молодого, прошедшего войну, много видевшего, бесспорно, что сегодня мы имеем дело с нашим противником и в одном Союзе с ним нам быть не к лицу.

И.Р. ГУРО: Я не знаю В. Войновича, не знаю его творчества. Волей-неволей поэтому я составила свое мнение по его выступлениям и по тому, что, имея уши, я слышала. Несколько фактов повлияли на мое мнение о нем и безусловно повлияют на то решение, которое я внутренне принимаю в отношении Войновича как члена Союза.

Я не верю в астральные, потусторонние силы и не верю, что каким-то неземным путем этот документ мог оказаться в грязной газетенке наших врагов. Этот документ был передан таким образом, чтобы найти адресата, и адресат был найден. Это – первое.

Второе. Очень большой политический вес имеет любое заявление писателя, обнародованное в нашей прессе. Поэтому, когда мы прочли письмо Войновича о том, что он считает гнусным поступком печатание помимо его желания его произведения, мы восприняли это как искреннее заявление. Как же можно было иначе это воспринять?! Но я слышала своими ушами, что это письмо было вызвано соображениями материальной выгоды, облегчения своего положения и т. д.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: И желанием сохранить добрые отношения с Союзом писателей.)

Следовательно, заявление двурушническое, заявление обманное. Как мы можем иначе расценить его? Не могу поверить, что кто-то из наших товарищей умолял Войновича: «помоги нам». Мы не нуждаемся в нем. Прежде всего он сам этим себе помогает.

Здесь было произнесено слово «провокация». Я человек немолодой, имею жизненный опыт и могу оценить атмосферу. И вот этот плохой, дрянной запах провокации меня сопровождает все время. Мы его слышим в этих репликах Войновича. Я считаю, что Войнович сам себя поставил вне рядов советских писателей.

В. АМЛИНСКИЙ: Я знаю творчество Войновича.

Я относился к его творчеству и таланту с уважением. Когда я прочитал это письмо, я, честно говоря, был поражен. Мне казалось, что это непохоже на него. Я не знал истории с повестью о приключениях солдата Чонкина. Я считал, что непохож на него тон этого письма: ернический, развязный, странно грубый тон.

Когда речь идет о судьбе писателя, который написал интересную книгу, выразил себя, то не так просто бросаться этой судьбой, и мы все это понимаем. И в ряде выступлений, например у Лесневского, проступала какая-то боль за Войновича. Я не думаю, что он человек, который сознательно рассчитывал на провокационность, но объективно так получилось. Тем людям, которые такие вещи печатают, нет дела ни до Войновича, ни до его прозы, ни до литературы вообще. Им нет до него дела – они хотят делать свой политический бизнес на этом, и это далеко от литературы.

Он в данном случае объективно сработал на них.

Меня удивили также в этом письме какие-то оскорбительные выпады против Бориса Панкина – человека серьезного, объективно делающего свое дело, и против Ю.Н. Верченко, который много доброго делает людям. Он не чиновник-бюрократ, насколько я его знаю.

Мне кажется, если бы Войнович нашел в себе силы, мужество, желание решительным образом отмежеваться от своей позиции, от этого письма, это было бы каким-то выходом. Есть ведь еще

Секретариат. Войнович должен очень тщательно, по-человечески продумать всю создавшуюся ситуацию. Не хочется говорить грубости в его адрес. Тут есть люди, которые его знают, читают, и нас это письмо страшно огорчило. Я даже думаю, что это не он писал, на него непохоже. Вообще все это очень тяжело и грустно. Я не хочу говорить каких-то проработческих фраз. Речь идет о художнике, о его судьбе. Но это действительно совершенно недопустимо и невозможно. Ведь антисоветчикам, которые использовали его произведение, нет дела ни до какого дарования. Может быть, он найдет в себе силы и мужество свою ложную позицию пересмотреть.

А. СТАРКОВ: Тут уже много было сказано. Все, что здесь происходит, я воспринимаю как личную неприятность.

Когда-то я читал письмо в «Литературную газету», читал роман о народолюбцах, который прекрасно называется «Степень доверия». Применил ли к себе Войнович это прекрасное название, подумал ли он о той степени доверия, с какой отнеслись к нему читатели письма в «Литературную газету», те, кто издавал его книги?

Не хочется об этом говорить, но я никак не могу отрешиться от мысли, которая всех тревожит, что это все-таки какой-то маневр, какая-то конъюнктура, избрание какого-то момента для нанесения неприятности, удара – то, что в футболе называется финтом. Но почему избран ВААП?

Так получилось, что мой зять – молодой дипломат получил назначение в ВААП. Он пришел и с гордостью об этом сказал – вот мы теперь будем помогать издавать советскую литературу за рубежом.

И вот я никак не могу представить себе моего зятя в качестве надзирателя Бутырской тюрьмы. Мне кажется, эти слова не от головы, а от какого-то маневра.

Я очень хорошо относился к тому, что я читал («Чонкина» я не читал), о народовольцах хороший роман. Но теперь я уже ничему не верю, я запутался в ваших маневрах. Литератор вы хороший, а человек какой-то «финтующий».

Мы все очень переживаем. Очень печально, что мы вынуждены обсуждать не ваше творчество, не ваш роман, а ваш поступок, а еще более печально, что вы рассматриваете нас всех как надзирателей Бутырской тюрьмы. Это для меня очень оскорбительно и огорчительно.

Г.Г. РАДОВ: Высказалось уже много товарищей. Есть предложение заканчивать, тем более что позиция ясна. Разрешите мне сказать несколько слов.

Мне показали из нового сочинения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» то место, где он презрительно отзывается об Иване Бунине за то, что тот не принял гитлеровцев. Вы помните трагический эпизод, когда к голодному умирающему Бунину пришли гитлеровцы и предложили свою помощь, и Бунин с негодованием от нее отказался. То, что проделал Солженицын, – это крайняя степень падения: презирать Бунина, не

принявшего помощь гитлеровцев!

Я хочу продолжить мысль Ю. Королькова. Понимает ли Войнович, что здесь сидят люди, прошедшие, независимо от дарования, большой жизненный путь. Они честно жили, были в рядах армии, не только выступали на литературном фронте, но и сражались на фронтах войны, в том числе в разведке. Эти люди вот здесь сидят. Они пришли с единым желанием разобраться, потому что наше гражданское чувство глубоко уязвлено вашим тоном. Мы проявили максимум выдержки с единственной целью – помочь разобраться свихнувшемуся человеку, потому что человек живет на нашей земле, он моложе многих из нас. У меня, как председательствующего, было единственное желание – дать возможность человеку обдумать свои поступки, объяснить их. Речь идет не о раскаянии, но хотя бы дать нам понять, что он всерьез над этим задумался. Я этого не увидел.

Я тоже увидел в этом политический маневр. Когда Г. Бровман сказал, что В. Войнович выглядит жалким подпевалой в хоре гораздо более крупных и изощренных антисоветчиков, – это не оскорбление, это та роль, которую вы сыграли. Вольно или невольно, но вы поставили себя в жалкую, смешную, унижительную роль подпевалы. И кого же?!

Вот сегодня мне сказали, что редактор забраковал целиком мою книгу. Что же, у меня будет с ним спор. У меня бывали споры с противниками, с бюрократами. Это стоит много крови, но это нормально – это

жизнь, это борьба в нашем собственном «доме» за его улучшение и очищение.

Теперь давайте взвесим – с кем вы рвете и к кому идете. Вы рвете с Панкиным, хорошим, доброжелательным человеком, который первым выступил в защиту Абрамова, оградил от неправильных нападков на Ч. Айтматова и его «Белый пароход» блестящей статьей в «Комсомольской правде».

Когда вы говорите о последствиях, которые вы вычитали, – мы же не дети, никакого намека нет. А вы говорите, что писатели материально ущемлены.

Мы приобрели огромный международный престиж благодаря этому агентству, получили возможность охватить труды прогрессивных литераторов Запада, которых будем у нас печатать. Мы идем в этих целях на большое расходование валюты. А вы оплевали этот шаг!

Вы отказываетесь от своих товарищей. Вы отказываетесь, в общем, от своей Родины. Вы выразили свое отношение к ней здесь, сейчас и выразили его в этом письме.

У меня возникло огромное недоумение: как можно писать о Фигнер, честнейшей душе, и таить такое мрачное в себе. Это двурушничество. Во имя чего?

Мы имеем дело, мне кажется, с обдуманном, сознательным, политическим шагом. Создание ВААП здесь ни при чем. Просматриваются здесь совсем другие вещи. Атакует партийное руководство литературы, политическая направленность литературы, защищающей коммунизм, имеющей только в таком

качестве право на жизнь, а не в других качествах, как хотелось бы автору. Потому что он говорит о сочинениях, направленных против советской власти. Это заявление явно активное политическое заявление. Мы не дети, не наивные дети. Если я не хочу, чтобы мое произведение было опубликовано, я приму меры. Я не верю в невидимку, который шагает с письмом в «Грани».

И вот, исходя из того, что Войнович не внял двукратному предупреждению секретариата, исходя из того, что здесь говорили, что он достоин исключения из Союза. Я присоединяюсь к тому, что говорили товарищи.

Теперь я обращаюсь к вам – к вам отнеслись с высшей терпимостью, не трогая вашего человеческого достоинства. Постарайтесь выступить обдуманно, серьезно, постарайтесь говорить взвешенно.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я еще раз подчеркиваю, что я не увиливаю от своей ответственности за это письмо. И хотя его не передавал в «Посев», но что оно могло попасть и попадет туда – я не сомневался. Я его никаким корреспондентам не передавал.

Теперь то, что я писал. Я писал о колхозе, о целине, писал о Фигнер, писал о приключениях Чонкина, писал это письмо. Это писал один и тот же человек. Он не двурушничал. Этот человек писал, мне кажется, одно и то же, в какой-то степени развивался. Вам кажется, что я развивался не туда. Мне так не кажется.

Здесь говорили много слов. Говорили, что я

подписал, что я антисоветчик, чуть ли не служу в НТС. Это у нас практика (сказали, что Каплан стреляла в Ленина и что Чуковская могла бы стрелять в Ленина, потому что она как Фанни Каплан) – такое передергивание. В нашей литературе много недостатков. И вам, вместо того чтобы обсуждать меня, надо бы всерьез поговорить об этом, обратиться к высшим советским органам, к высшим партийным органам и сказать, что так нельзя.

Много говорили о Солженицыне. Многие из здесь присутствующих и сидящих в ресторане ЦДЛ не так давно в один голос говорили другие слова, когда обсуждали здесь, в Союзе писателей, роман его «Раковый корпус». Солженицыну создали все условия для того, чтобы сделать его не советским писателем. Солженицын пытался сотрудничать. Он все время зывал к разуму, говорил – не это, так то.

Сейчас говорят об «Архипелаге ГУЛАГ». Я отвечаю на вопрос Падерина – я «Архипелага ГУЛАГ» не читал, но я верю Солженицыну. Я верю, что это писатель честный, мужественный, не верю, что он власовец. Я знаю, что он боевой офицер, гражданин, патриот своей Родины. И за все, что вы говорите, – постыдитесь, побойтесь бога.

Г.Г. РАДОВ: У меня имеется проект постановления. Разрешите его зачитать. (Читает проект постановления.) Есть замечания по проекту?

Л.Н. ФОМЕНКО: Это писалось заранее, после всех разговоров и переговоров, а сегодня выявился целый

ряд вещей, в частности последнее слово Войновича. Я считаю, что это должно быть учтено в постановлении.

Г. БРОВМАН: А также его поведение на собрании.

Г.Г. РАДОВ: Есть предложение добавить: несмотря на старания членов Бюро убедить Войновича в несовместимости его поведения с пребыванием в Союзе, Войнович упорно отстаивал свою точку зрения, высказанную в письме, чем подтвердил верность своим убеждениям.

Мы это сформулируем, но смысл такой. Нет возражений? (Нет.)

Есть добавления? (Нет.)

Я голосую – кто за этот проект постановления с добавлением? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Голосуют только члены Бюро или все присутствующие?

Г.Г. РАДОВ: Члены Бюро, и у нас здесь есть члены Правления, они тоже голосуют.

Г.Ф. СТРЕХНИН: В порядке справки Войновичу: у нас присутствуют 9 членов Бюро. Из 9 никто не голосовал против. И 6 членов Правления.

Г.Г. РАДОВ: На этом разрешите закончить обсуждение.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Бюро и Партбюро Творческого

объединения прозаиков

от 31 января 1974 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Г. Радов, Ф. Колунцев, В. Амлинский, Л. Фоменко, Г. Березко, В. Ковалевский, В. Красильщиков, А. Старков, М. Колосов, Т. Фомина, Г. Бровман, И. Гуро, М. Колесников, С. Лесневский, А. Воинов, И. Арсентьев, А. Медников, Ю. Стрехнин, А. Смирнова, И. Осипов, И. Падерин, Ю. Корольков, В. Войнович, Н. Медведева.

Председатель: Г. РАДОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Персональное дело члена Союза писателей СССР В.Н. ВОЙНОВИЧА.

2. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Персональное дело В.Н. ВОЙНОВИЧА.

В обсуждении приняли участие: Г. Радов, В. Красильщиков, И. Падерин, А. Воинов, Л. Фоменко, С. Лесневский, Г. Березко, Ю. Корольков, Г. Бровман, И. Гуро, В. Амлинский, А. Старков, В. Войнович.

Г. РАДОВ зачитывает проект решения Бюро:

Бюро Творческого объединения прозаиков, рассмотрев вопрос об «открытом письме» В.Н. Войновича и выслушав его объяснения, отмечает следующее:

1. Фактом написания «Открытого письма» и опубликования его в антисоветском журнале «Посев» (11, 1973 г.) В.Н. Войнович сознательно берет под защиту Солженицына, Максимова и других

литераторов, отдавших свое перо на службу зарубежной антисоветской пропаганде. «Открытое письмо» В.Н. Войновича, написанное в издевательском тоне, явно направлено на дискредитацию нашего общественного строя, оно используется антисоветчиками как их политическое оружие.

2. Написав и распространив «Открытое письмо», В.Н. Войнович продолжает ту свою политическую линию, за которую он в свое время, вследствие написания им клеветнического, антинародного произведения «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», опубликованного затем в зарубежной антисоветской печати, решением Секретариата от 15 июля 1970 г. и от 29 декабря 1970 г. был предупрежден, что он заслуживает исключения из Союза, но ввиду того, что он опубликовал в «Литературной газете» свое заявление с протестом против использования его произведения в антисоветской печати, получил только строгий выговор с занесением в личное дело (до этого В.Н. Войнович имел выговор с занесением в личное дело за подписание коллективных писем в защиту антисоветчиков – Постановление Секретариата МО СП РСФСР от 20 мая 1967 г.).

Бюро считает, что В. Войнович, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны писательской организации, не осознал несовместимости таких своих поступков, как написание «Открытого письма», с обязанностями члена Союза

писателей СССР. Бюро расценивает это письмо как сознательную политическую акцию со стороны В. Войновича, определяющую его политическое лицо; акцию, которая ставит под сомнение возможность его пребывания в СП. Дав использовать свое перо антисоветским силам, В. Войнович тем самым сознательно нарушил положение Устава СП СССР, обязывающее писателей «всей своей творческой и общественной деятельностью активно участвовать в строительстве коммунизма».

Бюро считает, что В.Н. Войнович, написав и опубликовав «Открытое письмо», совершил действия, не совместимые со званием советского писателя.

На все попытки членов бюро Творческого объединения прозаиков, которые проявили максимум терпения и настойчивости, чтобы разъяснить В.Н. Войновичу его антиобщественное и антисоветское поведение, убедить его в необходимости признать и исправить свои ошибки, В.Н. Войнович заявил, что он не считает своих действий ошибочными и, совершая их, заранее знал, что они не совместимы с пребыванием в Союзе писателей СССР. На заседании вел себя вызывающе. Исходя из этого, а также из того, что В.Н. Войнович имеет упомянутые выше выговор с занесением в личное дело и строгий выговор с занесением в личное дело за свои политические выступления, наносящие ущерб советскому обществу, бюро считает невозможным дальнейшее пребывание В.Н. Войновича в рядах Союза

писателей и просит Секретариат принять решение об исключении Войновича В.Н. из Союза писателей СССР.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проект решения Бюро Творческого объединения прозаиков (единогласие) и просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР принять решение об исключении В.Н. ВОЙНОВИЧА из рядов Союза писателей СССР. (Стенограмма обсуждения прилагается.)

1. **СЛУШАЛИ:** Заявление члена Союза писателей СССР Н.А. РАВИЧА с просьбой об оказании материальной помощи в размере 200 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР ходатайствовать перед Литфондом СССР об оказании члену Союза писателей СССР РАВИЧУ Н.А. материальной помощи в размере 200 рублей (без сокращения этой суммы), вследствие болезни, не позволяющей ему закончить работу над книгой, и учитывая то обстоятельство, что с подобной просьбой Н.А. РАВИЧ в Литфонд СССР никогда не обращался.

2. **СЛУШАЛИ:** Заявление члена Союза писателей СССР М.И. БАРЫШЕВА о предоставлении ему творческой командировки в г. Мурманск и Мурманскую область.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР предоставить М.И. БАРЫШЕВУ творческую командировку в г. Мурманск и Мурманскую область

сроком на 20 дней для сбора материалов к новой книге о трудовых буднях северян и знаменательных свершениях, которые происходят в Заполярье.

3. СЛУШАЛИ: Заявление члена Союза писателей СССР А.С. ИВАНЧЕНКО о предоставлении ему творческой командировки в гг. Ташкент и Ашхабад.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР предоставить А.С. ИВАНЧЕНКО творческую командировку в гг. Ташкент и Ашхабад сроком на 30 дней в марте с.г. для сбора материалов к новой повести о становлении советской власти в Туркестане.

4. СЛУШАЛИ: Заявление члена Союза писателей СССР Е.О. БЕЛЯНКИНА о предоставлении ему творческой командировки в г. Батуми в апреле месяце с.г.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Секретариат Правления московской писательской организации предоставить Е.О. БЕЛЯНКИНУ творческую командировку в г. Батуми в апреле с.г. для сбора материалов к новой книге о пограничниках.

Зам. председателя Бюро Г. РАДОВ

Ответственный секретарь Н. МЕДВЕДЕВА

Секретариат был назначен на 20 февраля. Но за несколько дней до него я заболел воспалением легких. 20-го утром мне позвонил Ильин: «Я хотел бы, чтобы вы пришли до секретариата, нужно поговорить. Мы помним, что вы хороший писатель, мы не хотим с вами расставаться, никто не желает

вашей крови, приходите, пожалуйста, я вас очень прошу».

Это были новые ноты, раньше он разговаривал со мной не так.

Я сказал: «До заседания нам встретиться не удастся, потому что я к вам не приду. У меня две причины. Первая – неуважительная – я болен...»

«Очень хорошо, – радостно прервал Ильин, – в таком случае я отменю заседание».

«Не нужно отменять, – сказал я. – Я, когда выздоровею, тоже не приду. У меня есть еще одна причина, уважительная: нам не о чем говорить».

Ильин продолжал меня уговаривать. Я должен прийти. Со мной поговорят, исключать не будут. В крайнем случае объявят еще один выговор.

Я спросил, какой же выговор, когда у меня уже два строгих, причем второй с последним предупреждением.

«Пусть вас это не волнует, это процедурный вопрос, мы с ним как-нибудь справимся».

«Меня ваши процедуры больше не интересуют, – сказал я. – Выговоров ваших я больше не признаю. Я сам объявляю вам выговор».

«Вот очень хорошо, – сказал Ильин. – Приходите. Вы нас покритикуете, мы вас покритикуем».

Я еще раз сказал, что не приду, а свою критику сегодня же пришлю в письменном виде.

К началу заседания моя жена отвезла в секретариат сле-

дующее письмо:

В СЕКРЕТАРИАТ МО СП РСФСР

Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет происходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.

Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы – какое прикажут.

Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении. Два-три бывших писателя, а кто остальные? Посмотрите друг на друга – вы же сами не знаете, что пишет сидящий рядом с вами или напротив вас. Впрочем, про некоторых известно доподлинно, что они ничего не пишут.

Я готов покинуть организацию, которая при вашем активном содействии превратилась из Союза писателей в союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес и поэм, выдаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемой автором.

Защитники отечества и патриоты! Не слишком ли

дорого обходится отечеству ваш патриотизм? Ведь иные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые вами хлебобобы не всегда могут заработать целым колхозом.

Вы – союз единомышленников... Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку... За двенадцать лет своего пребывания в Союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.

Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают; пьесу запретят; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят двести-триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать: «Мы ему помогали, а он...» Не надо мне помогать, я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду.

Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете. В отличие от большинства из

вас, я сам был рабочим. Одиннадцати лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. Четыре года я прослужил солдатом Советской армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок.

Ложь – ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. Ошибаетесь! Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду.

В. ВОЙНОВИЧ

19 февраля 1974 г., Москва

В тот день жизнь моя круто переменилась. Я физически почувствовал, что теперь я свободен. Меня можно убить, раздавить, но душа моя уже вырвалась из их когтей и им неподвластна больше.

В два часа ночи меня разбудил звонок московского корреспондента агентства Рейтер. Ему только что звонили из Лондона и просили проверить сообщение, правда ли, что я арестован. Я сказал, что, может быть, я арестован, но мне об этом пока еще ничего не известно. Повернулся на другой бок и спокойно заснул. И, кстати сказать, после этого быстро вы-

здоровел.

А пока я выздоравливал и приходил в себя, товарищи работали.

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

СЕКРЕТАРИАТА ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ

ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СП РСФСР

20 февраля 1974 года

1. Персональное дело В.Н. Войновича

Г. Г. Радов

В.П. Тельпугов

М.Н. Алексеев

А.Е. Рекемчук

А.М. Медников

А.А. Самсония

Н.В. Томан

А.А. Михайлов

В.Л. Разумневич

Ю.Ф. Стрехнин

2. Прием в члены Союза

1) Горенштейна Ф.Н.

2) Камянова В.И.

3) Копыловой Л.В.

4) Кузнецова А.А.

5) Леоновича В.Н.

6) Прудникова М.С.

3. О проведении отчетно-выборной конференции московских писателей по выбору Правления и Ревизионной комиссии

Председательствует Ю.Ф. Стрехнин

Ю.Ф. Стрехнин: Товарищи! Сегодня у нас в повестке дня предлагается следующее:

1. Персональное дело Войновича. Докладывает т. Радов.

2. Прием в члены Союза писателей. Докладывает т. Михайлов.

3. Отчет о проделанной работе Бюро творческого объединения прозы за 1973 год и об основных мероприятиях, намечаемых на 1974 год. Докладывает т. Амлинский.

4. О проведении отчетно-выборной конференции московских писателей по выбору Правления и Ревизионной комиссии. Докладывает т. Ильин.

5. Разное. Докладывает т. Ильин.

Поступило предложение – ввиду серьезности вопроса о проведении конференции поставить его первым после приема в Союз. Возражений нет? По первому вопросу должен сообщить следующее.

Войнович В.Н. был приглашен на заседание Секретариата заблаговременно письменно и устно, но сообщил письмом, что он болен, но что, если бы даже и был здоров, он все равно на заседание Секретариата не намерен являться, просит решать вопрос без него, так как считает, что в Союзе ему находиться незачем.

Это письмо будет прочитано в порядке обсуждения вопроса.

Я думаю, что все-таки в порядке хронологии сначала мы заслушаем т. Радова, который доложит о том, как рассматривалось это дело на Бюро творческого объединения прозаиков, затем В.Н. Ильин прочитает нам письмо Войновича, после чего мы приступим к обсуждению.

Пожалуйста, Георгий Георгиевич.

Г.Г. РАДОВ: Бюро творческого объединения прозаиков совместно с активом, точнее с членами Правления Московской писательской организации, рассмотрело поступки члена Союза В.Н. Войновича.

Перед нами был документ, напечатанный в 11-м номере антисоветского журнальчика «Посев», – письмо Войновича председателю Всесоюзного агентства авторских прав Панкину, письмо, которое было нами расценено, мягко говоря, как политическое хулиганство, а если говорить серьезнее – явная

антисоветская выходка, направленная, естественно, не против этого агентства, не против Панкина, а против всей советской литературы. Это письмо клеветническое.

Мы имели в виду, рассматривая это заявление, и предыдущие поступки Войновича. Во-первых, тот факт, что он в 1967 году имел выговор за подписание коллективных писем в защиту антисоветчиков, а в 1970 году состоялось два решения Секретариата в связи с опубликованием за границей его произведения, которое называлось «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина». Как вам известно, это произведение рассматривалось по существу его и было признано антинародным и клеветническим. Было сказано в Секретариате, что за это он заслуживает исключения из Союза писателей.

В связи с тем, что Войнович В.Н. выступил в «Литературной газете» с письмом, в котором отказывался от причастности к факту публикации его за границей, он получил только выговор. Но мы обратили внимание на то, что Войнович в этом письме в «Литературную газету» никакого отношения к самому роману своему не высказал, не осудил, не дал оценки. В «Литературной газете» он только протестовал против того факта, что его незавершенное произведение публикуется за границей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.